

CIVITAS TERRENA

Жан Жак  
РУССО

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ  
ДОГОВОРЕ



КАНОН-ПРЕСС-Ц  
ТЕРРА-КНИЖНЫЙ КЛУБ

JEAN-JACQUES

ROUSSEAU

**TRAITÉS**

ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ

ЖАН ЖАК  
РУССО

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ  
ДОГОВОРЕ

ТРАКТАТЫ



МОСКВА ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ  
КАНОН-ПРЕСС-Ц  
2000



**РАССУЖДЕНИЕ  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ  
И ОСНОВАНИЯХ  
НЕРАВЕНСТВА  
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ**

## **ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИМЕЧАНИЯХ<sup>36</sup>**

Я добавил к этому произведению некоторые примечания, сообразно моей несколько беспечной привычке работать урывками. Примечания эти подчас настолько отклоняются от моей темы, что незачем читать их одновременно с текстом. Поэтому я перенес их к концу Рассуждения, в котором я пытался, насколько мог, следовать наиболее прямым путем. Те, кому достанет решимости вновь приступить за чтение, могут, развлечения ради, еще раз пошарить в поисках добычи и попытаться просмотреть эти примечания; беда будет невелика, если остальные не прочитают их вовсе.

## **РАССУЖДЕНИЕ**

О человеке, вот о ком предстоит мне говорить: и сам вопрос, мною рассматриваемый, требует, чтобы я говорил об этом людям, ибо подобных вопросов не предлагают, когда боятся чтить истину. Я буду, таким образом, убежденно защищать дело человечества перед мудрецами, которые меня к тому побуждают, и я не буду недоволен самим собою, если окажусь достойным темы моей и судей моих.

Я вижу в человеческом роде два вида неравенства: одно, которое я называю естественным или физическим, потому что оно установлено природою и состоит в различии возраста, здоровья, телесных сил и умственных или душевных качеств; другое, которое можно назвать неравенством условным или политическим, потому что оно зависит от некоторого рода соглашения и потому что оно устанавливается или, по меньшей мере, утверждается с согласия людей. Это последнее заключается в различных привилегиях, которыми некоторые пользуются за счет других: как то, что они более богаты, более почитаемы, более могу-

щественны, чем другие, или даже заставляют их себе повиноваться.

Не к чему спрашивать, каков источник естественного неравенства, потому что ответ содержится уже в простом определении смысла этих слов. Еще менее возможно установить, есть ли вообще между этими двумя видами неравенства какая-либо существенная связь. Ибо это означало бы, иными словами, спрашивать, обязательно ли те, кто повелевают, лучше, чем те, кто повинуются, и всегда ли пропорциональны у одних и тех же индивидуумов телесная или духовная сила, мудрость или добродетель их могуществу или богатству: вопрос этот пристало бы ставить разве что перед теми, кто признает себя рабами своих господ: он не возникает перед людьми разумными и свободными, которые ищут истину.

О чем же именно идет речь в этом Рассуждении? О том, чтобы указать в поступательном развитии вещей тот момент, когда право пришло на смену насилию и природа, следовательно, была подчинена Закону; объяснить, в силу какого сцепления чудес сильный мог решиться служить слабому, а народ — купить воображаемое спокойствие ценою действительного счастья.

Философы, которые исследовали основания общества, все ощущали необходимость восходить к естественному состоянию, но никому из них это еще не удавалось. Одни не колебались предположить<sup>37</sup> у человека в этом состоянии понятие о справедливом и несправедливом, не позаботившись показать ни того, должен ли он был иметь такое понятие, ни даже того, было ли оно для него полезно. Другие говорили<sup>38</sup> о естественном праве каждого на сохранение того, что ему принадлежит, не объясняя, что понимают они под словом «принадлежать». Третьи, наделив сперва<sup>39</sup> более сильного властью над более слабым, немедленно создали Управление, не думая о том, что должно было пройти некоторое время, прежде чем слова «власть» и «управление» получили понятный для людей смысл. Наконец, все, беспрестанно говоря о потребностях, жадности, угнетении, желаниях и гордости, перенесли в естественное состояние представления, которые они взяли в обществе: они говорили о диком человеке, и изображали человека в гражданском состоянии. Большею части наших философов не приходило даже в голову сомневаться в том,

что естественное состояние существовало, между тем как очевидно, когда читаешь священные книги, что первый человек, получивший непосредственно от Бога знания и наставления, вовсе не был сам в этом состоянии; и, если относиться к писаниям Моисея<sup>40</sup> с тем доверием, с которым подобает относиться к ним всякому христианскому философу, то уже нельзя допустить, что люди, даже до потопа, когда-либо находились в естественном состоянии в его чистом виде, если только они не впали в него снова в результате какого-нибудь необычайного события — парадокс этот очень трудно защищать и совершенно невозможно доказать.

Начнем же с того, что отбросим все факты<sup>41</sup>, ибо они не имеют никакого касательства к данному вопросу. Мы должны принимать результаты розысканий, которые можно повести по этому предмету, не за исторические истины, но лишь за предположительные и условные рассуждения, более способные осветить природу вещей, чем установить их действительное происхождение, и подобные тем предположениям, которые постоянно высказывают об образовании мира наши натуралисты<sup>42</sup>. Религия предписывает нам верить, что так как сам Бог вывел людей из естественного состояния сразу же после сотворения мира, то они не равны, потому что он хотел, чтобы они не были равными; но религия не запрещает нам, на основании одной только природы человека и существ, его окружающих, строить предположения о том, во что человеческий род мог бы превратиться, если бы он был предоставлен самому себе<sup>43</sup>. Вот — то, что у меня спрашивают, и то, что я ставлю себе задачей рассмотреть в этом Рассуждении. Так как тема моя относится к человеку вообще, то я постараюсь говорить таким языком, который понятен был бы всем нациям; или, точнее, — отвлекаясь от места и времени, чтобы думать лишь о людях, которым я говорю, я предположу, что нахожусь в Лицее афинском<sup>44</sup>, повторяя уроки моих учителей, имея судьями Платонов и Ксенократов<sup>45</sup>, а слушателем — род человеческий.

О человек! Из какой бы ты ни был страны, каковы бы ни были твои взгляды, слушай, — вот твоя история, такая, какой, полагаю, я прочел ее не в книгах, написанных тебе подобными, которые лживы, а в природе, которая никогда не лжет. Все, что от нее — истинно: ложно будет

лишь то, что я, не желая того, прибавлю от себя. Времена, о которых буду я говорить, очень отдаленны: как изменился ты с тех пор по сравнению с тем, каким был. Я опишу тебе, так сказать, жизнь твоего рода, судя по свойствам, которые ты получил, которые воспитание твое и привычки твои могли извратить, но которых не могли они уничтожить. Есть, чувствую я, такой возраст, на котором отдельный человек хотел бы остановиться: ты будешь искать тот возраст, на котором ты желал бы, чтобы остановился род твой. Огорченный нынешним твоим состоянием по причинам, которые сулят твоему несчастному потомству еще большие огорчения, ты, возможно, пожелаешь вернуться назад: и это чувство должно вылиться в похвальное слово первым предкам твоим, в критику современников твоих и внушить ужас тем, кто будет иметь несчастье жить после тебя.



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сколь ни важно для того, чтобы правильно судить о естественном состоянии человека, изучить его с момента первого его появления на свет и рассмотреть, так сказать, первый эмбрион этого вида, я не стану проследивать последовательные изменения его организации, я не стану останавливаться на изучении организма животных, дабы узнать, что мог человек представлять собою вначале, если стал в конце концов тем, чем он стал<sup>46</sup>. Я не стану исследовать, не были ли его продолговатые ногти, как думает Аристотель, сначала вовсе крючкообразными когтями; не был ли он покрыт шерстью, как медведь; и, когда он ходил на четвереньках, не определяли ли его взоры, устремленные к земле и простиравшиеся всего на несколько шагов вперед, самый характер и границы его представлений. Обо всем этом я мог бы высказать здесь только предположения неопределенные и почти лишенные оснований. Сравнительная анатомия сделала еще слишком мало успехов, наблюдения естествоиспытателей еще чересчур неопределенны, чтобы можно было на такой основе построить убедительное рассуждение. Поэтому, не полагаясь здесь на снизошедшие на нас озарения свыше и не учитывая изменений, которые должны были совершиться в строении тела человека как внешнем, так и внутреннем, по мере того как он приучал свои члены к новым действиям и переходил к новым видам пищи, я предположу, что он во все времена был таким же, каким вижу я его сегодня: ходил на двух ногах, пользовался своими руками так же, как пользуемся нашими руками мы, охватывал своим взглядом всю природу и измерял взором своим обширное пространство неба.

Освободив существо, таким образом устроенное, от всех сверхъестественных даров, которые могло оно получить, и от всех искусственных способностей, которые оно могло

приобрести лишь в результате долгого развития, словом, рассматривая его таким, каким оно должно было выйти из рук природы, я вижу перед собою животное, менее сильное, чем одни, менее проворное, чем другие, но, в общем, организованное лучше, чем какое-либо другое. Я вижу, как утоляет оно свой голод под каким-нибудь дубом и жажду — из первого встретившегося ему ручья; как находит оно ложе свое под тем же деревом, что доставило ему пищу, — и вот уже удовлетворены все его потребности.

Земля, представленная своему естественному плодородию и покрытая огромными лесами, которых еще не калечил топор, предлагает на каждом шагу склады питания и убежища всякого рода животным. Люди, рассеянные среди них, наблюдают, перенимают их навыки и поднимаются таким образом до инстинкта животных: с тем преимуществом, что каждый вид животных обладает лишь своим собственным инстинктом, а человек, который, быть может, не обладает ни одним принадлежащим только ему инстинктом, присваивает себе их все; употребляет в равной мере почти все те виды пищи, которые разделяют между собою другие животные, и, следовательно, находит средства к существованию с меньшим трудом, чем любое из них.

Привыкнувшие с детства к превратностям погоды, к зимней стуже и к летнему зною, приученные к тяготам и вынужденные нагими и безоружными защищать свою жизнь и добычу от других хищных зверей или спастись от них бегством, люди приобретают телосложение крепкое и почти не подверженное изменениям. Дети, появляясь на свет, наследуют превосходное телосложение своих отцов и укрепляют его посредством тех же упражнений, которые его создали; они приобретают, таким образом, всю силу, на которую человеческий род способен. Природа поступает с ним так же, как закон Спарты с детьми ее граждан: она делает сильными и крепкими тех, которые хорошо сложены, и уничтожает всех остальных, отличаясь этим от наших обществ, в которых государство, превращая детей в тяжкое бремя для их отцов, убивает их без всякого разбора еще до их появления на свет.

Так как тело дикого человека — это единственное известное ему орудие, он использует его и для многих таких

целей, к которым наши тела, по недостатку упражнений, уже неспособны: самая наша изобретательность лишает нас той силы и той ловкости, которую дикого человека заставляла приобретать необходимость. Имей он топор, разве могла бы рука его ломать столь крепкие ветви? Имей он пращу, разве мог бы он с такою меткостью бросать камни рукою? Будь у него лестница, разве мог бы он с такою легкостью взлезать на деревья? Будь у него лошадь, разве был бы он столь быстр в беге? Дайте цивилизованному человеку время собрать около себя все его машины: не приходится сомневаться, что он легко одержит верх над диким человеком; но если хотите вы увидеть борьбу еще более неравную, то поставьте их друг против друга нагими и безоружными и вы вскоре увидите, какое это преимущество — иметь постоянно все силы свои в своем распоряжении, всегда быть готовым ко всякой неожиданности и носить, так сказать, всего себя с собою<sup>(III)</sup>.

Гоббс утверждает<sup>47</sup>, что человек от природы бесстрашен и ждет только случая нападать и сражаться. Один знаменитый философ<sup>48</sup>, напротив, полагает, и Кэмберленд<sup>49</sup> и Пуфендорф<sup>50</sup> также это утверждают, что ничего нет столь робкого, как человек в его естественном состоянии, и что он всегда дрожит от страха и готов бежать при малейшем шуме, который он слышит, при малейшем движении, которое он заметит. Это, быть может, и так относительно тех предметов, которые ему неизвестны, и я нисколько не сомневаюсь, что он пугается всех новых зрелищ, открывающихся перед ним, всякий раз, когда он не может распознать, должен ли он от этого ждать хорошего или плохого в физическом отношении и не может соразмерить свои силы с грозящими ему опасностями; такого рода обстоятельства весьма редки в естественном состоянии, где все идет так однообразно и когда лицо земли не подвергается тем внезапным и непрерывным изменениям, которые вызывают на земле страсти и непостоянство целых народов. Но дикий человек, живя непосредственно среди животных и с ранних пор в таком положении, когда ему приходится меряться с ними силами, вскоре начинает сравнивать их с собою и, чувствуя, что он в большей мере превосходит их ловкостью, чем они его силою, приучается их уже не бояться. Заставьте медведя или волка сражаться с дикарем, крепким, ловким и храбрым, как и все они, воору-

женным камнями и хорошей дубиной, и вы увидите, что опасность будет, по меньшей мере, взаимной и что после многих подобных опытов хищные звери, которые вообще не любят нападать друг на друга, неохотно станут нападать на человека, которого они сочтут столь же хищным, как они сами. Что же до животных, у которых силы действительно больше, чем у него ловкости, то по отношению к ним он находится в положении других видов, более слабых, которые все же существуют; причем у человека есть то преимущество, что, будучи не менее, чем они, проворен в беге и находя на деревьях почти что обеспеченное убежище, он может всякий раз вступать в борьбу или уклоняться от нее и выбирать между бегством и схваткою. Добавим, что, кажется, нет ни одного животного, которое по своей природе нападало бы на человека, кроме как в случаях самозащиты или крайнего голода, и проявляло бы по отношению к нему столь резкую антипатию, чтобы это свидетельствовало о том, что один из этих видов предназначен природою служить пищей для другого.

Вот, без сомнения, те причины, по которым негры и дикири так мало тревожатся о том, что они могут встретиться в лесу с хищными зверями. Венесуэльские караибы, среди прочих, живут в этом отношении в полной безопасности, не испытывая ни малейшего неудобства. Хотя они почти наги, говорит Франсуа Кореаль<sup>51</sup>, они смело углубляются в чащу, вооруженные только стрелою и луком; но никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь из них был растерзан дикими зверями.

Другие враги человека, более страшные, от которых он не может себя защитить такими же средствами, суть естественные немощи, детство, старость и всякого рода болезни — печальные признаки нашей слабости, из которых первые два общи всем животным, а последний присущ главным образом человеку, живущему в обществе. Если говорить о детях, я мог бы даже заметить, что женщине-матери, которая повсюду носит свое дитя с собою, легче его прокормить, чем самкам многих животных, которые вынуждены беспрестанно уходить и возвращаться, затрачивая на это много сил, — как для того, чтобы отыскать себе пищу, так и для того, чтобы выкармливать своих детенышей молоком или кормить их. Правда, если погибает мать, то и ребенку грозит большая опасность погибнуть

вместе с ней; но такая же опасность грозит сотне других видов животных, детеныши которых в течение долгого времени не в состоянии сами отыскивать себе пищу; и если детство у нас более продолжительно, то, поскольку и жизнь наша более продолжительна, все опять-таки оказывается в этом отношении примерно равным, хотя в том, что касается продолжительности детского возраста и числа детенышей, действуют уже другие законы, не относящиеся к моей теме. У стариков, которые мало действуют и мало потеют, потребности в пище убывают вместе со способностью ее добывать; а так как вольная жизнь избавляет их от подагры и ревматизма, а старость — это из всех бед та, которую человек менее всего в состоянии облегчить, то они угасают в конце концов так, что и не видно, как они перестали существовать, и они почти что не замечают этого сами<sup>52</sup>.

Что до болезней, то я никак не хочу повторять здесь те пустые и лживые декламации против медицины, исходящие от большинства здоровых людей; но я спрошу, есть ли какие-нибудь серьезные наблюдения, из которых можно было бы заключить, что в странах, где искусством этим более всего пренебрегают, средняя продолжительность жизни человека меньше, чем в тех странах, где его насаждают всего заботливее. Да и как могло бы это быть, если мы изобретаем для себя болезней больше, чем медицина может нам предоставить лекарств? Крайнее неравенство в образе жизни, избыток праздности у одних, избыток работы у других; та легкость, с какою можно возбуждать и удовлетворять наши аппетиты и нашу чувственность; слишком изысканная пища богатых, которая сообщает им горячительные соки и вызывает у них расстройства пищеварения, плохая пища бедных, которой, к тому же, им часто не хватает и недостаток которой заставляет их с жадностью переполнять свой желудок, когда это случайно оказывается возможным; бессонные ночи, излишества всякого рода, неумеренные порывы всей страстей, тревожения и истощение умственных сил, бесконечные огорчения и заботы, которые человек испытывает при любом имущественном положении и которые постоянно гложут его душу — вот печальные доказательства того, что большая часть болезней наших — это дело наших собственных рук и что мы могли бы почти всех их избежать, если бы сохра-

нили образ жизни простой, однообразный и уединенный, который предписан нам был природою. Если она предназначала нас к тому, чтобы мы были здоровыми, то я почти решаюсь утверждать, что состояние размышления — это уже состояние почти что противоестественное и что человек, который размышляет — это животное извращенное. Когда подумаешь о прекрасном здоровье дикарей, по меньшей мере тех, которых мы сами не погубили с помощью наших спиртных напитков; когда вспомнишь, что они почти не знают никаких иных немощей, кроме как раны и старость, то склоняешься к мысли, что легко можно было бы составить историю человеческих болезней, если проследить историю гражданских обществ. Таково, по крайней мере, мнение Платона<sup>53</sup> — он, судя по некоторым лекарствам, применявшимся или одобрявшимся Подалирием и Махаоном<sup>54</sup>, пришел к выводу, что различные болезни, которые неизбежно должны были вызвать эти лекарства, были, стало быть, еще совсем неизвестны среди людей; а Цельс<sup>55</sup> сообщает, что диета, столь необходимая ныне, была изобретена только Гиппократом<sup>56</sup>.

При столь немногих источниках болезней человек в естественном состоянии почти что не нуждается в лекарствах и еще менее — во врачах; человеческий род в этом отношении находится в положении, отнюдь не худшем, чем все остальные; и у охотников нетрудно узнать, много ли больных животных попадаетея им по пути. Много встречают они животных с опасными ранами, которые сами собою очень хорошо зарубцевались; с переломами костей и даже членов, которые выправились без помощи иного хирурга, кроме времени, иного режима, кроме обычной их жизни; эти животные выздоровели окончательно, хотя их не мучили операциями, не отравляли снадобьями и не изнуряли постами. Наконец, сколь бы ни было полезно нам искусство врачевания, правильно используемое, все же очевидно, что если больному дикарю, предоставленному самому себе, не на кого надеяться, кроме как на природу, ему зато и нечего опасаться, кроме своей болезни: это делает нередко его положение более предпочтительным, чем наше.

Остережемся же смешивать дикого человека с теми людьми, которых видим мы перед собою. Природа обходится со всеми животными, предоставленными ее заботам,

с особою нежностью, которая как бы показывает, насколько ревниво относится она к этому своему праву. Лошадь, кошка, бык и даже осел, в большинстве своем, отличаются более высоким ростом и все — более крепким телосложением, большею живостью, силою и храбростью пока живут в лесах, а не в домах наших; они теряют половину этих преимуществ, когда становятся домашними, и можно сказать, что все наши старания хорошо обращаться с этими животными и хорошо кормить их ведут лишь к их вырождению. То же происходит и с человеком: приобретая способность жить в обществе и становясь рабом, он делается слабым, боязливым и приниженным, а его образ жизни, изнеженный и расслабленный, окончательно подтачивает и его силы и его мужество. Прибавим, что различия между людьми в состояниях диком и домашнем должны быть еще больше, чем между животными дикими и домашними, ибо, поскольку природа обходится одинаково с животным и с человеком, все жизненные удобства, которых человек доставляет себе больше, чем приручаемым им животным, суть особые причины, которые вызывают более ощутимое его вырождение.

Итак, для этих первых людей не составляет столь большого несчастья, ни, даже, столь большого препятствия для их самосохранения, нагота, отсутствие жилища и всех тех ненужностей, которые считаем мы столь необходимыми. Если кожа их не покрыта шерстью, то в жарких странах они в этом не нуждаются, а в холодных странах они быстро научаются приспособливать в качестве одежды шкуры тех животных, которых они победили. Если у них только две ноги, чтобы бегать, зато у них две руки, чтобы позаботиться о своей защите и о своих нуждах. Дети их научаются ходить, быть может, поздно и с трудом, зато матери легко носят их с собою — этого преимущества нет у других видов, у которых мать, будучи преследуема, оказывается вынужденной бросать своих детенышей на произвол судьбы или же соразмерять свой бег с их бегом\*. Нако-

\* Тут возможны некоторые исключения: к примеру, животное из провинции Никарагуа: оно похоже на лисицу; у него ноги напоминают руки человека, и оно, согласно Кореалю<sup>57</sup>, имеет под животом карман, в который мать кладет детей, когда ей приходится спастись бегством. Это, безусловно, то же животное, что в Мексике называют *тлакатцином*<sup>58</sup> и самке которого Лазт<sup>59</sup> приписывает подобный же карман, имеющий то же назначение.

нец, если не предполагать тех исключительных и случайных обстоятельств, о которых я буду говорить в дальнейшем и которые вполне могли бы никогда не иметь места, то ясно, во всяком случае, что первый, кто изготовил себе одежду и построил себе жилище, доставил себе этим вещи мало необходимые, потому как до того времени он обходился без них, и мы не видим, почему бы он не мог, став взрослым, вести тот образ жизни, который он вел с самого своего детства.

Одиноким, праздным, всегда в непосредственной близости к опасности дикий человек должен любить спать и сон его должен быть чутким, как у животных, которые, думая мало, спят, так сказать, все время, когда они не думают. Так как забота о самосохранении составляет почти единственную его заботу, то наиболее развитыми его способностями должны быть те, главное назначение которых служить для нападения и для защиты: либо для того, чтобы овладеть своей добычей, либо для того, чтобы не стать самому добычей другого животного. Напротив, те органы, которые совершенствуются лишь под влиянием изнеженности и чувственности, должны оставаться в грубом состоянии — это исключает в дикаре утонченность какого бы то ни было рода; и так как чувства его разделяются по такому признаку, то осязание и вкус будут у него крайне грубы, зрение же, слух и обоняние — в высшей степени обостренными. Таково животное состояние вообще и таково же, по свидетельству путешественников, состояние большинства диких народов. Поэтому вовсе не следует удивляться ни тому, что готтентоты мыса Доброй Надежды<sup>60</sup> различают невооруженным глазом корабли в открытом море с такого же расстояния, как голландцы с помощью зрительных труб; ни тому, что дикари Америки чуют испанцев по их следу, как самые лучшие псы; ни тому, что все эти дикие народы без труда переносят свою наготу, возбуждают аппетит свой с помощью индейского перца и пьют европейские крепкие напитки, как воду.

До сих пор я рассматривал только физическое естество человека, попробуем теперь взглянуть на него со стороны духовной и нравственной.

Во всяком животном я вижу лишь хитроумную машину<sup>61</sup>, которую природа наделила чувствами, чтобы она могла сама себя заводить и ограждать себя, до некоторой



степени, от всего, что могло бы ее уничтожить или привести в расстройство. В точности то же самое вижу я и в машине человеческой с той только разницей, что природа одна управляет всеми действиями животного, тогда как человек и сам в этом участвует как свободно действующее лицо. Одно выбирает или отвергает по инстинкту, другой — актом своей свободной воли. Это приводит к тому, что животное не может уклониться от предписанного ему порядка, даже если бы то было ему выгодно, человек же часто уклоняется от этого порядка себе во вред.

Именно поэтому голубь умер бы с голоду подле миски, наполненной превосходным мясом, а кошка — на груде плодов или зерна, хотя и тот и другая прекрасно могли бы кормиться этою пищей, которую они пренебрегают, если бы они только догадались ее отведать. Именно поэтому люди невоздержанные предаются излишества, которые вызывают волнения и смерть, так как ум развращает чувства, а желание продолжает еще говорить, когда природа умолкает.

У всякого животного есть свои представления, потому что у него есть чувства; оно даже до некоторой степени комбинирует свои представления, и человек отличается в этом отношении от животного лишь как большее от меньшего<sup>62</sup>. Некоторые философы даже предположили, что один человек больше отличается от другого человека, чем человек — от животного. Следовательно, специфическое отличие, выделяющее человека из всех других животных, составляет не столько разум, сколько его способность действовать свободно. Природа велит всякому живому существу, и животное повинует. Человек испытывает то же воздействие, но считает себя свободным повиноваться или противиться, и как раз в сознании этой свободы проявляется более всего духовная природа его души. Ибо физика некоторым образом объясняет нам механизм чувств и образования понятий, но в способности желать, или точнее, выбирать, и в ощущении этой способности можно видеть лишь акты чисто духовные, которые ни в коей мере нельзя объяснить, исходя из законов механики.

Но если бы трудности, с которыми связано изучение всех этих вопросов, и оставляли все же некоторый повод для споров относительно этого различия между человеком и животным, то есть другое, весьма характерное и отли-

чающее их одно от другого свойство, которое уже не может вызвать никаких споров: это — способность к самосовершенствованию, которое с помощью различных обстоятельств ведет к последовательному развитию всех остальных способностей, способность, присущая нам как всему роду нашему, так и каждому индивидууму, в то время, как животное, по истечении нескольких месяцев после рождения на свет, становится тем, чем будет всю жизнь, а род его, через тысячу лет, — тем же, чем был он в первый год этого тысячелетия. Почему один только человек способен впадать в слабоумие? Не потому ли, что он таким образом возвращается к изначальному своему состоянию; и в то время как животное, которое ничего не приобрело и которое тем более не может ничего потерять, всегда сохраняет свой инстинкт, человек, теряя вследствие старости или иных злоключений все то, что он приобрел благодаря его способности к совершенствованию<sup>63</sup>, снова падает таким образом даже ниже еще, чем животное? Было бы печально для нас, если бы мы вынуждены были признать, что эта отличительная и почти неограниченная способность человека есть источник всех его несчастий, что именно она выводит его с течением времени из того первоначального состояния, в котором он проводит свои дни спокойно и невинно; что именно она, способствуя с веками расцвету его знаний и заблуждений, пороков и добродетелей, превращает его со временем в тирана себя самого и природы<sup>(iv)</sup>. Было бы ужасно, если бы мы должны были бы восхвалять, как существо благодетельное, того, кто первым подсказал обитателю берегов Ориноко, как применять дощечки<sup>64</sup>, которыми он зажимает виски своих детей и которые являются, по меньшей мере, одной из причин их слабоумия и первобытного их счастья.

Дикий человек, предоставленный природою одному лишь инстинкту, или, точнее, вознаграждаемый за возможное отсутствие инстинкта такими способностями, которые сперва позволяют ему заменить его, а потом понимают его значительно над природою, — этот человек начнет с чисто животных функций. Замечать и чувствовать — таково будет первое его состояние, которое будет у него еще общим со всеми другими животными; хотеть или не хотеть, желать и бояться — таковы будут первые и почти единственные движения души его до тех пор, пока новые обстоятельства не вызовут в ней нового развития.

Что бы там ни говорили моралисты, а разум человеческий все же многим обязан страстям<sup>65</sup>, которые, по общему признанию, также многим ему обязаны. Именно благодаря их деятельности и совершенствуется наш разум; мы хотим знать только потому, что мы хотим наслаждаться, и невозможно было бы постигнуть, зачем тот, у кого нет ни желаний, ни страхов, дал бы себе труд мыслить. Страсти, в свою очередь, ведут свое происхождение от наших потребностей, а развитие их — от наших знаний; ибо желать или бояться чего-либо можно лишь на основании представлений, которые можем мы иметь об этом или же следуя естественному импульсу; и дикий человек, лишенный каких бы то ни было познаний, испытывает лишь страсти этого последнего рода. Его желания не идут далее физических потребностей<sup>(v)</sup>; единственные блага в мире, которые ему известны, — это пища, самка и отдых; единственные беды, которых он страшится, — это боль и голод. Я говорю боль, а не смерть, ибо никогда животное не узнает, что такое — умереть, и знание того, что такое смерть и ужасы ее — это одно из первых приобретений, которые человек делает, отдаляясь от животного состояния<sup>66</sup>.

Мне было бы легко, если бы это было необходимо, подтвердить сие мнение фактами и показать, что у всех народов мира успехи разума оказались в точном соответствии с потребностями, которые они получили от природы или которым подчинили их обстоятельства, и, следовательно, с теми страстями, которые побуждали их удовлетворять эти потребности. Я показал бы, как в Египте науки и искусства рождались и распространялись вместе с разливами Нила<sup>67</sup>; я проследил бы за развитием их у греков, где они зародились, развились и поднялись до небес среди песков и скал Аттики, но не могли укорениться на плодородных берегах Еврота<sup>68</sup>; я отметил бы, что вообще народы Севера более изобретательны, чем народы Юга<sup>69</sup>, потому что им труднее без этого обойтись, как если бы природа таким образом хотела уравнивать возможности, наделив умы тем плодородием, в котором она отказала почве.

Но даже если мы и не будем прибегать к малодостоверным свидетельствам истории, разве не всякому понятно, что все, казалось бы, удаляет от дикого человека искушение и средства перестать быть таковым? Его воображение ничего не рисует ему, его сердце ничего от него не требует.

То, что нужно для удовлетворения его скромных потребностей, столь легко можно найти под руками и он столь далек от уровня знаний, необходимого для того, чтобы желать приобрести еще бóльшие, что у него не может быть ни предвидения, ни любознательности. Зрелище природы становится ему безразличным по мере того, как оно становится для него привычным: вечно тот же порядок, вечно те же перевероты; он не склонен удивляться величайшим чудесам, и не у него следует искать тот философский склад ума, который нужен человеку, чтобы он смог однажды заметить то, что до этого видел он ежедневно. Его душа, которую ничто не волнует, предается только лишь ощущению его существования в данный момент, не имея никакого представления о будущем, как бы оно ни было близко, и его планы, ограниченные, как и кругозор его, едва простираются до конца текущего дня. Такова еще и сегодня степень предвидения карайба: он продает поутру хлопковое ложе свое и, плача, приходит выкупать его к вечеру, так как он не предвидел, что оно может ему понадобиться на ближайшую ночь<sup>70</sup>.

Чем больше размышляем мы по этому вопросу, тем более увеличивается в наших глазах дистанция между чистыми ощущениями и самыми несложными знаниями; и невозможно себе представить, как мог человек, только своими силами и без помощи общения с себе подобными и не подстрекаемый необходимостью, преодолеть столь большое расстояние. Сколько веков, возможно, протекло, прежде чем люди оказались в состоянии увидеть иной огонь, кроме небесного! сколько понадобилось им разного рода случайностей, чтобы научиться самым обычным способом пользоваться этою стихией! сколько раз погасал он у них, прежде чем они постигли искусство разводить его вновь! и сколько раз, быть может, каждый из секретов этих умирал вместе с тем, кто открывал его! Что же сказать нам о земледелии, искусстве, которое требует столько труда и столько предусмотрительности, зависит от столь многих других искусств, которое, вполне очевидно, может применяться только в обществе, хотя бы недавно возникшем, и служит нам не столько для того, чтобы добывать из земли ту пищу, которую земля исправно доставляла бы и без него, сколько для того, чтобы заставить ее производить предпочтительно то, что нам более всего по вкусу?

Но предположим, что люди размножились настолько, что продуктов природы оказалось бы уже недостаточно, чтобы их прокормить, — предположение это, отметим попутно, свидетельствовало бы, что этот образ жизни включает в себе великую выгоду для человеческого рода. Предположим, что земледельческие орудия, без кузниц и мастерских, попали бы в руки дикарей, упав с неба; что люди эти побороли бы в себе смертельное отвращение, которое все они питают к продолжительному труду; что они научились бы предвидеть столь задолго свои потребности; что они догадались бы, как нужно обрабатывать землю, высевать семена и сажать деревья; что они открыли бы искусство молотить хлебные зерна и вызывать брожение в винограде — всему этому должны были бы их научить боги, потому что невозможно постигнуть, как могли бы они научиться этому сами, — кто после всего этого был бы столь безрассуден, чтобы выбиваться из сил, обрабатывая поле, которое будет опустошено первым же пришельцем — безразлично, человеком или животным, — которому приглянется эта жатва? И почему бы каждый решил проводить жизнь свою в тяжелых трудах, если он будет тем менее уверен в том, что получит вознаграждение за них, чем более будет оно ему необходимо? Словом, как может положение это побудить людей обрабатывать землю до тех пор, пока не будет она вообще разделена между ними, то есть пока не будет вообще уничтожено естественное состояние?

Если бы мы захотели предположить, что дикий человек столь же далеко ушел в искусстве мышления, каким нам представляют его наши философы; если бы мы, по их примеру, сделали его самого философом, самостоятельно открывающим возвышеннейшие истины, создающим себе путем целого ряда отвлеченных рассуждений принципы справедливого и разумного, основанные на любви к порядку вообще или на познанной воле Создателя его: словом, если бы мы предположили, что у него в голове столько же смысла, сколько в действительности там оказывается непонятливости и тупости, — то какую пользу извлек бы род человеческий из такого рода умственного развития, которое не могло бы передаваться от одного индивидуума к другому и умирало бы вместе с тем, кто проделал его? Каковы могли бы быть успехи рода человеческого, рассе-

янного в лесах среди животных? И до какой степени могли бы взаимно совершенствоваться и взаимно просвещать друг друга люди, которые, не имея ни постоянного жилища, ни какой бы то ни было нужды один в другом, встречались бы, быть может, не более двух раз в своей жизни, не узнавая друг друга и не вступая друг с другом в разговор?<sup>71</sup>

Подумайте, сколькими представлениями обязаны мы употреблению речи; как изощряет и облегчает грамматика действия ума; каких невообразимых усилий и какого огромного времени стоило впервые изобрести языки. Присоедините к этим соображениям предыдущие, и тогда судите сами, сколько тысяч веков потребовалось, чтобы развить последовательно в человеческом уме способность производить те действия, на которые он был способен.

Да будет мне позволено бросить беглый взгляд на трудности, связанные с вопросом о происхождении языков<sup>72</sup>. Я мог бы ограничиться здесь изложением или повторением исследований по этому вопросу г-на аббата де Кондильяка<sup>73</sup>, они полностью подтверждают мое мнение и они-то, быть может, и дали мне первое представление об этом предмете. Но способ, каким этот философ разрешает трудности, которые он сам же себе создает в вопросе о происхождении установленных законов, показывает, что он предположил то, что я подвергаю сомнению, а именно — уже установленную своего рода связь между изобретателями языка; поэтому я полагаю, что, отсылая читателя к его размышлениям, я должен присоединить к ним и мои, чтобы представить эти трудности в освещении, соответствующем моей теме. Первая трудность, которая здесь возникает, состоит в том, чтобы представить себе, каким образом языки могли оказаться нужны, ибо если люди не имели никаких сношений между собою и никакой нужды в них, то непонятна ни потребность в этом изобретении, ни возможность его, если не было оно необходимо. Я вполне мог бы сказать, как многие другие, что языки родились в домашних сношениях между отцами, матерями и детьми. Но помимо того, что это вовсе не опровергло бы возражений, это значило бы совершить ошибку, которую совершают все, кто, размышляя о естественном состоянии, переносят на него понятия, взятые в обществе, видят всегда семью соединенной в одном и том же жилище и ее членов, сохраняющих между собою союз столь же тесный и столь

же постоянный, каким он является у нас, где их объединяет столько общих интересов; между тем, в этом первобытном состоянии не было ни домов, ни хижин, ни какого бы то ни было рода собственности, и поэтому каждый располагался как и где придется — и часто только на одну ночь: самцы и самки соединялись случайно волею встречи, случая и желания, не испытывая особой необходимости в речи, чтобы передавать то, что им нужно было сказать друг другу; они покидали друг друга с такою же легкостью. Мать сначала выкармливала своих детей, потому что ей самой это было необходимо; затем привычка делала их для нее дорогими — и она кормила их потому, что это было им необходимо. Как только у них появлялись силы искать себе пропитание, они немедленно покидали мать, и так как едва ли было какое-либо другое средство отыскивать друг друга, кроме как не терять друг друга из виду, то они вскоре доходили до того, что переставали даже узнавать друг друга. Отметьте еще, что так как ребенок должен объяснить все, что ему надобно, и, следовательно, ему нужно сказать матери больше, чем мать должна сказать ему, то именно ребенку нужно потратить больше всего труда на это изобретение, и язык, которым он пользуется, должен быть в значительной степени его собственным созданием<sup>74</sup>. Это плодит столько же языков, сколько существует индивидуумов, чтобы на них разговаривать; этому способствует еще кочевой образ жизни, который не дает ни одному наречию времени укорениться. Если же сказать, что мать диктует ребенку слова, которыми он должен будет пользоваться, чтобы попросить у нее то или иное, то сие наглядно показывает, как обучают языкам, уже сложившимся, но это вовсе не объясняет, как они складываются.

Предположим первую эту трудность преодоленную; перенесемся на мгновение через огромное пространство, которое должно было отделять естественное состояние от возникшей уже потребности в языках, и попытаемся узнать, предполагая, что языки необходимы<sup>(v1)</sup>, как они могли начать устанавливаться. Новая трудность, еще большая, чем предыдущая. Ибо если люди нуждались в речи, чтобы научиться мыслить, то они еще более нуждались в умении мыслить, чтобы изобрести искусство речи<sup>75</sup>, и если бы мы поняли, каким образом звуки голоса взяты были

как условные передатчики наших мыслей, то все же останется еще узнать, каковы могли быть сами передатчики условия этого для понятий, которые, не имея предметом своим нечто ощутимое, не могли быть определяемы ни жестами, ни голосом. Так что едва ли можно строить какие-либо основательные предположения относительно зарождения этого искусства сообщать другим свои мысли и устанавливать сношения между умами; искусства возвышенного, которое столь далеко уже ушло от своих истоков, но, на взгляд философа, остается еще столь далеким от своего совершенства, что нет человека достаточно дерзкого, который решился бы утверждать, что оно когда-нибудь придет к этому совершенству — даже если бы перевороты, которые неизбежно приносит с собой время, и прекратились, к выгоде для него, даже если бы академии расстались со всеми своими предрассудками или предрассудки умолкли перед лицом академий, и академии могли бы непрерывно, на протяжении целых столетий, заниматься только этим затруднительным вопросом.

Первый язык человека, язык наиболее всеобщий, наиболее выразительный и единственный, в котором нуждался он, прежде чем пришлось ему убеждать в чем-то людей уже объединившихся, — это крик самой природы<sup>76</sup>. Так как этот крик исторгался у человека лишь силою некоторого рода инстинкта в случаях настоящей необходимости, чтобы умолять о помощи при большой опасности или об облегчении при тяжких страданиях, то им редко пользовались в повседневной жизни, где царят чувства более умеренные. Когда представления людей стали расширяться и усложняться и когда между людьми установилось более тесное общение, они постарались найти знаки более многочисленные и язык более развитый, они увеличили число изменений голоса и присоединили к ним жесты, которые по природе своей более выразительны и смысл которых менее зависит от предварительного условия. Они, таким образом, выражали предметы видимые и движущиеся посредством жестов, а те, которые действуют на слух, — посредством звукоподражаний. А так как жесты означают почти только такие предметы, которые налицо, или такие, которые легко описать, и видимые действия, так как применение жестов не всеобъемлюще, потому что темнота или возникновение преграды в виде какого-либо



предмета делают их бесполезными и потому что они скорее требуют внимания, чем возбуждают его, то, в конце концов, додумались заменить их изменениями голоса, которые, не имея такой же связи с определенными представлениями, все же более способны выражать их в виде условных обозначений. Замена эта может совершиться только с общего согласия и притом таким способом, который довольно трудно было осуществить людям с мало развитыми, ввиду отсутствия упражнений, органами речи, и такая замена сама по себе кажется еще более непостижимой, потому что это единодушное согласие должно было быть каким-либо образом мотивировано, и, следовательно, получается, что необходимо было прежде обладать речью, чтобы потом ввести ее в употребление.

Надо полагать, что первые слова, которыми люди пользовались, имели в их уме значение гораздо более широкое, чем слова, которые употребляют в языках, уже сложившихся; и что, не ведая разделения речи на составные ее части, они придавали каждому слову сначала смысл целого предложения<sup>77</sup>. Когда они начали отличать подлежащее от сказуемого и глаголы от существительных, что было уже не малым подвигом человеческого гения, существительных было вначале лишь столько же, сколько имен собственных, настоящее время инфинитива было единственным временем глаголов<sup>78</sup>, а что до прилагательных<sup>79</sup>, то понятие о них должно было развиваться лишь с большим трудом, потому что всякое прилагательное есть слово абстрактное, а абстракции суть операции трудные и мало естественные.

Каждый предмет получил сначала свое особое название, вне зависимости от родов и видов, которые эти первые учителя не были в состоянии различать, и все индивидуумы представлялись их уму обособленными, какими и являются они на картине природы. Если один дуб назывался *А*, то другой дуб назывался *Б*, ибо первое наше представление, которое возникает при виде двух предметов — это то, что они не одно и то же, и часто нужно немало времени, чтобы подметить, что у них есть общего; так что чем более ограниченными были знания, тем обширнее становился словарь<sup>80</sup>. Затруднения, связанные со всею этою номенклатурой, нельзя было легко устранить, ибо, чтобы расположить живые существа согласно общим и родовым обозна-

чениям, нужно было знать свойства и различия, нужны были наблюдения и определения, то есть требовались естественная история и метафизика в гораздо большем объеме, чем то могло быть известно людям того времени.

К тому же общие понятия могут сложиться в уме лишь с помощью слов, а рассудок постигает их лишь посредством предложений. Это — одна из причин, почему у животных не может образоваться таких понятий и почему они не смогут когда бы то ни было приобрести ту способность к совершенствованию, которая от этих понятий зависит. Когда обезьяна, не колеблясь, переходит от одного ореха к другому, то разве думаем мы, что у нее есть общее понятие об этом роде плодов и что она сравнивает сложившийся у нее первообраз с этими двумя отдельными предметами? Нет, конечно, но вид одного из этих орехов вызывает в ее памяти ощущения, вызванные у нее другим, а глаза ее, уже приспособившись определенным образом, предуведомляют ее орган вкуса о том, как он должен приспособиться. Всякое общее понятие чисто умственно; если только к нему хоть чуть-чуть примешивается воображение, понятие сразу же становится частным. Попробуйте представить себе образ дерева вообще — это вам никогда не удастся: помимо вашей воли, вы должны будете увидеть его маленьким или большим, густым или с редкою листвою, светлым или темным, и если бы от вас зависело увидеть в нем лишь только то, что свойственно всякому дереву, то образ этот больше не походил бы на дерево. То, что существует только как чистая абстракция, также можно увидеть подобным образом или постигнуть лишь посредством речи. Одно только определение треугольника даст вам о нем истинное представление; но как только вы представите себе треугольник в уме, то это будет именно такой-то треугольник, а не иной, и вы обязательно придадите ему ощутимые линии или окрашенную плоскость. Нужно, следовательно, произносить предложения, нужно, следовательно, говорить, чтобы иметь общие понятия<sup>81</sup>, ибо как только прекращается работа воображения, ум может продвигаться лишь с помощью речи. Если, таким образом, первые изобретатели могли дать названия лишь тем понятиям, которые у них уже были, то отсюда следует, что первые существительные никогда не могли быть ничем иным, кроме как именами собственными.

Но когда, посредством непостижимых для меня способов, наши новоявленные грамматики начали расширять свои понятия и делать более общими свои слова, то невежество изобретателей должно было ограничить этот метод весьма тесными рамками; и так как сначала они чрезмерно умножили число названий индивидуумов, ибо не знали родов и видов, то впоследствии они образовали уже слишком мало видов и родов, ибо существа они не рассматривали с точки зрения всех их различий. Чтобы продвинуть разделение достаточно далеко, нужно было иметь больше опыта и знаний, чем могло у них быть, больше исследований и труда, чем пожелали они на это употребить. А если и теперь открывают ежедневно новые виды, которые до сих пор ускользали от всех наших наблюдений, то подумайте, сколько их должно было укрыться от людей, которые судили о вещах лишь по первому взгляду. Что же до первоначальных категорий и наиболее общих понятий, то излишне прибавлять, что они также должны были от них ускользать. Как могли они, например, представить себе или понять такие слова, как материя, дух, сущность, способ, образ, движение, когда наши философы, которые столь долгое время уже ими пользуются, с большим трудом могут их понять сами, и, — так как понятия, которые связываем мы с этими словами, всецело отвлеченные, — они не находят им никакого прообраза в природе?

Я остановлюсь на этих первых шагах и умоляю моих судей прервать здесь чтение и подумать: после изобретения существительных, т. е. той части языка, которую создать было легче всего, — какой еще путь должен был пройти язык, чтобы он мог выражать все мысли людей, чтобы он мог получить постоянную форму, чтобы на нем можно было разговаривать публично и с его помощью воздействовать на общество? Я умоляю их поразмыслить над тем, сколько потребовалось времени и знаний, чтобы изобрести числа<sup>(vii)</sup>, слова, обозначающие отвлеченные понятия, аористы и все времена глаголов, частицы, синтаксис, чтобы научиться составлять предложения, суждения и чтобы создать всю логическую систему речи. Что до меня, то, уstraшенный все умножающимися трудностями и убежденный в том, что, как это уже почти доказано, языки не могли возникнуть и утвердиться с помощью средств чисто человеческих<sup>82</sup>, я предоставляю всем желающим зани-

маться обсуждением сего трудного вопроса: что было нужнее — общество, уже сложившееся, — для введения языков, либо языки, уже изобретенные, — для установления общества.

Как бы ни обстояло дело с происхождением языка и общества, все же по тому, сколь мало природа позаботилась о сближении людей на основе их взаимных потребностей и об облегчении им пользования речью, видно, по меньшей мере, сколь мало подготовила она их способность к общежитию<sup>83</sup> и сколь мало внесла она своего во все то, что сделали они, чтобы укрепить узы общества. В самом деле, невозможно представить себе, почему человек в этом первобытном состоянии больше нуждался бы в другом человеке, чем обезьяна или волк — в себе подобных; и если даже предположить, что была у него в этом нужда, то какая причина могла бы побудить другого человека идти ему в этом навстречу; наконец, даже в этом последнем случае, как могли бы они достигнуть между собою соглашения относительно тех или иных условий. Нам беспрестанно повторяют, я это знаю, что не было ничего столь несчастного, как человек в этом состоянии<sup>84</sup>; и если верно, как я, надеюсь, это доказал, что лишь через много веков у него могли появиться желание и возможность выйти из этого состояния, то винить в этом надо бы природу, а не того, кого она таким именно создала. Но если я правильно понимаю это выражение *несчастный*, то слово это либо не имеет смысла, либо означает лишь мучительные лишения и страдания души или тела; и если так, то я бы очень хотел, чтобы мне объяснили, какого рода могут быть несчастья существа свободного, спокойного душою и здорового телом. Я спрашиваю, который из двух образцов жизни — в гражданском обществе или в естественном состоянии — скорее может стать невыносимым для того, кто живет в этих условиях? Мы видим вокруг нас почти только таких людей, которые жалуются на свою жизнь, и многих таких, которые лишают себя жизни, когда это в их власти; законы божеский и человеческий вместе едва способны остановить этот беспорядок. А случалось ли вам когда-либо слышать, я спрашиваю, чтобы дикарь на свободе хотя бы только подумал о том, чтобы жаловаться на жизнь и кончать с собою. Судите же с меньшим высокомерием о том, по какую сторону мы видим подлинное челове-

ческое несчастье. И напротив, могло ли быть существо столь же несчастное, как дикий человек, ослепленный познаниями, измученный страстями и рассуждающий о состоянии, отличном от его собственного. То было весьма мудрым предвидением, что способности, которыми обладал этот человек в потенции, должны были развиваться только тогда, когда уже были случаи их упражнять, так чтобы они не оказались для него излишними и обременительными прежде времени или же запоздалыми и бесполезными в случае надобности. В одном только инстинкте заключалось для него все, что было ему необходимо, чтобы жить в естественном состоянии; а в просвещенном уме заключается для него лишь то, что ему необходимо, чтобы жить в обществе.

На первый взгляд кажется, что люди, которые в этом состоянии не имели между собою ни какого-либо рода отношений морального характера, ни определенных обязанностей, не могли быть ни хорошими, ни дурными и не имели ни пороков, ни добродетелей<sup>85</sup>, если только, принимая эти слова в некоем физическом смысле, мы не назовем пороками те качества индивидуума, которые могут препятствовать его самосохранению, а добродетелями — те качества, которые могут его самосохранению способствовать; в этом случае пришлось бы назвать наиболее добродетельным того, кто менее всех противился бы простейшим внушениям природы. Но, если мы не будем отходить от обычного значения этого слова, то лучше не высказывать пока суждения, которое могли бы мы вынести о таком положении, и не доверяться нашим предрассудкам до тех пор, пока, имея в руках надежное мерило, мы не исследуем, больше ли добродетелей, чем пороков, среди людей цивилизованных, либо же — приносят ли этим людям больше пользы их добродетели, чем вреда — их пороки; либо — является ли развитие их знаний достаточным вознаграждением за то зло, которое они взаимно причиняют один другому по мере того, как научаются добру, которое они должны делать друг другу; либо же, в общем, — не было ли бы их положение более предпочтительным, когда им нечего было терять и не надо было ни страшиться зла, ни ждать добра от кого бы то ни было, чем тогда, когда, сделавшись зависимыми от всего решительно, они обязались бы ждать всего от тех, кто не обязывается что-либо им давать.

Более же всего воздержимся заключать вместе с Гоббсом<sup>86</sup>, что пока человек не имеет понятия о доброте, он от природы зол, что он порочен, пока не знает добродетели; что он неизменно отказывает себе подобным в услугах, если он не считает себя к тому обязанным, и что, в силу права на владение вещами, ему необходимыми, — права, которое он не без основания себе присваивает, — он безрассудно мнит себя единственным обладателем всего мира<sup>87</sup>. Гоббс очень хорошо видел недостаточность всех современных определений естественного права, но следствия, которые выводит он из своего собственного определения, показывают, что он придает ему такое значение, которое не менее ложно. Исходя из принципов, им же установленных, этот автор должен был бы сказать, что естественное состояние — это такое состояние, когда забота о нашем самосохранении менее всего вредит заботе других о самосохранении, и состояние это, следовательно, есть наиболее благоприятное для мира и наиболее подходящее для человеческого рода. Он, однако, утверждает как раз противное, когда включает, весьма некстати, в то, что составляет заботу дикого человека о своем самосохранении, необходимость удовлетворять множество страстей, кои суть порождение общества и которые сделали необходимым установление законов. Злой, — говорит он<sup>88</sup>, — это сильное дитя. Остается выяснить, является ли дикарь сильным дитятею? Допустим, что мы бы с ним в этом согласились, что бы он из этого вывел? Что, если, будучи сильным, человек этот так же зависел от других, как тогда, когда он слаб, что нет такой крайности, которая могла бы его остановить, он прибил бы свою мать, если бы она слишком замешкалась дать ему грудь; он задушил бы одного из своих младших братьев, если бы тот ему докучал; он укусил бы за ногу другого, если бы тот толкнул его или обеспокоил. Но — быть сильным и одновременно зависимым — это два предположения, которые исключают друг друга при естественном состоянии: человек слаб, когда он зависим, но он освобождается от зависимости прежде еще, чем становится сильным. Гоббс упустил из виду, что та же причина, которая мешает дикарям использовать свой ум, как утверждают наши юристы, в то же время мешает им злоупотреблять своими способностями, как утверждает он сам. Так что можно было бы сказать, что дикари не злы

как раз потому, что они не знают, что значит быть добрыми, ибо не развитие познаний и не узда Закона, а безмятежность страстей и неведение порока мешают им совершать зло: *Tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio quam in his cognitio virtutis\**. Есть, впрочем, еще одно начало, которое Гоббс совсем упустил из вида и которое, будучи дано человеку для смягчения, в известных обстоятельствах, неукротимости его самолюбия или его стремления к самосохранению, пока еще не родилось чувство самолюбия<sup>(VIII)</sup>, умеряет его рвение в борьбе за свое благополучие врожденным отвращением, которое он испытывает при виде страданий ему подобного<sup>89</sup>. Полагаю, что мне нечего бояться каких-либо возражений, если я отдам человеку ту единственную природную добродетель, признать которую был вынужден даже самый злостный хулитель добродетелей человеческих<sup>90</sup>. Я говорю о жалости, о естественном сочувствии к существам, которые столь же слабы, как мы, и которым грозит столько же бед, как и нам: добродетель эта тем более всеобъемлюща и тем более полезна для человека, что она предшествует у него всякому размышлению, и столь естественна, что даже животные иногда обнаруживают явные ее признаки. Не говоря уже о нежности матерей к их детенышам и о тех опасностях, которым идут навстречу, чтобы оградить своих детенышей от этих опасностей, разве не приходится нам ежедневно наблюдать, сколь противно лошади раздавить ногою какое-либо живое существо. Всякое животное чувствует некоторое беспокойство, когда встречает на своем пути мертвое животное его же вида; есть даже такие, которые устраивают своим собратьям нечто вроде погребения; и жалобный рев скота, когда он попадает на бойню, говорит о том впечатлении, которое производит на него это ужасное зрелище, его поражающее. Мы с удовольствием замечаем, что и автор *Басни о пчелах*<sup>91</sup>, вынужденный признать человека существом сострадательным и чувствительным, в том примере, который он по этому случаю приводит, изменяет своему изысканному и холодному стилю и представляет нам волнующий образ человека, находящегося в перти, который видит, как за окном дикий зверь вырывает дитя из объятий матери, крошит смертоносными своими

\* «Им приносит больше пользы незнание пороков, чем другим — знание добродетелей»<sup>92</sup> (лат.). Ю с т и н. История, II, 15.

зубами его слабые члены и разрывает когтями трепещущие внутренности этого дитяти. Какое страшное волнение должен испытать свидетель подобной сцены, которая никак не касается его самого! какие муки должен он испытывать при этом зрелище от того, что не может он оказать никакой помощи ни лишившейся чувств матери, ни умирающему ребенку.

Таков чисто естественный порыв, предшествующий всякому размышлению, такова сила естественного сострадания, которое самым развращенным нравам еще так трудно уничтожить, ибо видим же мы ежедневно, как на наших спектаклях умиляется и льет слезы над злоключениями какого-нибудь несчастливца тот, кто, окажись он на месте тирана, еще более отягчил бы муки врага своего, подобно кровожадному Сулле<sup>93</sup>, столь чувствительному к несчастьям, если не он был их причиною, или этому Александру Ферскому<sup>94</sup>, который не решался присутствовать на представлении какой бы то ни было трагедии, опасаясь, как бы не увидели, как стонет он вместе с Андромахой и Приамом<sup>95</sup>, что не мешало ему без волнения слушать вопли стольких граждан, которых убивали ежедневно по его же приказаниям.

*Mollissima corda  
Humano generi dare se natura fatetur,  
Quae lacrimas dedit\**

Мандевилль хорошо понимал, что, несмотря, на все свои моральные принципы, люди навсегда остались бы ничем иным, как чудовищами, если бы природа не дала им сострадания в помощь разуму; но он не увидел, что уже из этого одного качества возникают все общественные добродетели, в которых хочет он отказать людям. В самом деле, что такое великодушные, милосердие и человечность, как не сострадание к слабым, к виновным или к человеческому роду вообще? Благожелательность и даже дружба суть, если взглянуть на это как следует, результат постоянного сострадания, направленного на определенный предмет; ибо желать, чтобы кто-нибудь не страдал — разве это не значит желать, чтобы он был счастлив? Если верно, что сострадание есть всего лишь такое чувство, которое

\* Нежнейшее сердце  
Дать роду людскому, видно, желала природа,  
Коль наделила слезами<sup>96</sup> (лат.).



ставит нас на место того, кто страдает<sup>97</sup>, — чувство безотчетное и сильное у человека дикого, развитое, но слабое у человека в гражданском состоянии, — то истинность моих слов получает новое подтверждение. В самом деле, сострадание будет тем сильнее, чем теснее отождествит себя животное-зритель с животным страдающим. Ведь очевидно, что отождествление это должно было бы быть несравненно более полным в естественном состоянии, чем в таком состоянии, когда люди уже рассуждают. Разум порождает самолюбие, а размышление его укрепляет; именно размышление отделяет человека от всего, что стесняет его и удручает. Философия изолирует человека; именно из-за нее говорит он втихомолку при виде страждущего: «Гибни, если хочешь, я в безопасности». Только опасности, угрожающие всему обществу, могут нарушить спокойный сон философа и поднять его с постели. Можно безнаказанно зарезать ближнего под его окном, а ему стоит только закрыть себе руками уши и несколько успокоить себя несложными доводами, чтобы не дать восстающей в нем природе отождествить себя с тем, которого убивают<sup>98</sup>. Дикий человек полностью лишен этого восхитительного таланта; и, по недостатку благоразумия и ума, он всегда без рассуждений отдается первому порыву человеколюбия. Во время бунтов, во время уличных драк сбегается чернь, а человек благоразумный старается держаться подальше; сброд, рыночные торговки разнимают дерущихся и мешают почтенным людям перебить друг друга.

Итак, совершенно очевидно, что сострадание — это естественное чувство, которое, умеряя в каждом индивидууме действие себялюбия, способствует взаимному сохранению всего рода. Оно-то и заставляет нас, не рассуждая, спешить на помощь всем, кто страдает у нас на глазах; оно-то и занимает в естественном состоянии место законов, нравственности и добродетели, обладая тем преимуществом, что никто и не пытается послушаться его кроткого голоса; именно оно не позволит какому бы то ни было сильному дикарю отнять у слабого ребенка или у немощного старика с трудом добытую пищу, если сам он надеется найти ее для себя в другом месте; именно оно внушает всем людям вместо этого возвышенного предписания: *Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобою*<sup>99</sup>, то другое предписание доброты естественной,

которое куда менее совершенно, но, быть может, более полезно, чем предыдущее: *Забиться о благе своем, причиняя как можно меньше зла другому*. Словом, именно в этом естественном чувстве скорее, чем в каких-либо хитроумных соображениях, следует видеть причину того отвращения к содеянию зла, которое всякий человек испытывает, даже независимо от тех или иных принципов воспитания. Хотя Сократу и умам его закала, возможно, и удавалось силою своего разума приобщиться добродетели, но человеческий род давно бы уже не существовал, если бы его сохранение зависело только от рассуждений тех, которые его составляют.

Обладая страстями столь мало деятельными, и уздою, столь спасительною, эти люди, скорее неистовые, чем злые, более озабоченные тем, чтобы оградить себя от зла, чем подверженные искушению причинить зло другому, не вступали в слишком опасные распри между собою; так как не было между ними сношений какого-либо рода, и они, следовательно, не знали ни тщеславия, ни преклонения, ни уважения, ни презрения; так как они не имели ни малейшего понятия о «твоем» и «моем», как и какого-либо действительного понятия о справедливости; так как считали насилия, которым могли подвергнуться, злом легко исправимым, а не обидою, требующею наказания, и так как они даже не помышляли о мести, — разве только, что осуществляли ее машинально и немедленно, как собака, что кусает брошенный в нее камень, — то их споры редко приводили к кровавым последствиям, если только не имели они своим предметом чего-нибудь более существенное, нежели пища. Но я вижу здесь еще один предмет, более опасный, о котором мне и остается поговорить.

Среди страстей, которые волнуют сердце человека, есть одна, пылкая, неукротимая, которая делает один пол необходимым другому; страсть ужасная, презирающая опасности, опрокидывающая все препятствия; в своем неистовстве она, кажется, способна уничтожить человеческий род, который она предназначена сохранять. Во что превратятся люди, став добычею этой необузданной грубой страсти, не знающей ни стыда, ни удержу, и оспаривающие повседневно друг у друга предметы своей любви ценою своей крови.

Надо прежде всего признать, что чем более неистовы страсти, тем более необходимы законы, чтобы их сдержи-

вать. Но, помимо того, что беспорядки и преступления, которые ежедневно вызывают среди нас эти страсти, довольно хорошо показывают недостаточность законов в этом отношении, было бы еще неплохо исследовать, не родились ли вообще эти беспорядки вместе с самими законами, ибо в том случае, если бы они были способны бороться с беспорядками, то самое малое, чего от них следовало бы потребовать, это чтобы они покончили с тем злом, которого без них вообще бы не существовало.

Начнем с того, что отделим в чувстве любви духовное от физического. Физическое — это вообще желание, влекущее один пол к соединению с другим. Духовное — это то, что определяет это желание и направляет его исключительно на один только предмет, или, по меньшей мере, сообщает этому желанию, направленному на этот предпочитаемый предмет, высшую степень напряжения. Таким образом, нетрудно увидеть, что духовная сторона любви — это чувство искусственное, порожденное жизнью в обществе и превозносимое женщинами с великою ловкостью и старанием, чтобы укрепить свою власть и сделать господствующим тот пол, который должен был бы подчиняться<sup>100</sup>. Чувство это, основывающееся на определенных понятиях о достоинствах и красоте, понятиях, которых у дикаря вообще не может быть, и на сравнениях, которые он вообще не в состоянии делать, должно быть ему почти незнакомо. Ибо, так как в уме его не могло еще сложиться отвлеченных понятий о правильности и соразмерности, то душа его также неспособна чувствовать восхищение и любовь, которые, хотя и безотчетно, рождаются из применения этих понятий. Он послушен только своему темпераменту, который получил от природы, а не вкусу, которого он не мог еще приобрести, и любая женщина хороша для него.

Эти люди ограничены знанием одной только физической стороны любви и счастливы, не ведая тех индивидуальных предпочтений, что разжигают это чувство и умножают его трудности; они должны поэтому не так часто и не так живо чувствовать приступы любовного неистовства; а раз так, то и столкновения между ними должны быть более редки и менее жестоки. Воображение, которое среди нас творит столько бед, ничего не говорит сердцу дикаря; каждый спокойно ждет внушения природы, отдается ему,

не выбирая, более с удовольствием, чем со страстью, и, как только удовлетворена потребность, желание угасает все целиком.

Бесспорно поэтому, что и сама любовь, как и все прочие страсти, приобрела лишь в обществе тот неукротимый пыл, который делает ее столь часто губительною для людей; и представлять диких людей беспрестанно истребляющими друг друга ради удовлетворения своих зверских инстинктов тем более смешотворно, что мнение это противоречит фактам и что, например, караибы — народ, который менее, чем какие-либо из ныне существующих народов, отдалился от естественного своего состояния, — как раз миролюбивее всех в своих любовных делах и менее всех подвержены ревности<sup>101</sup>, хотя они и живут в знойном климате, который, казалось бы, должен сообщать страстям этим еще бо́льшую деятельность.

Что же до выводов, которые можно было бы сделать из наблюдения над различными видами животных, из схваток самцов, которые повседневно орошают кровью наши птичники или оглашают весною своими криками наши леса, оспаривая друг у друга самку, то здесь надо прежде всего исключить все те виды, внутри которых природа, самым очевидным образом, установила иные соотношения между полами, чем у нас. Таким образом, петушиные бои вовсе не дают основания для каких-либо заключений относительно человеческого рода. У тех видов животных, у которых пропорция соблюдается более строго, бои эти могут иметь причиною только немногочисленность самок по сравнению с числом самцов, либо наличие таких промежутков времени, в течение которых самки вообще не подпускают к себе самцов, а это возвращает нас к первой же причине, — ибо если каждая самка допускает к себе самца только два месяца в году, то в результате число самок как бы уменьшается на пять шестых. Однако ни один из этих двух случаев не применим к человеческому роду, где число самок обычно превосходит число самцов и где никогда не приходилось наблюдать, даже у дикарей, чтобы самки, как это имеет место у других видов, периодически то искали самцов, то не подпускали их к себе. Кроме того, поскольку у многих из этих животных период течки наступает одновременно для всего вида, то настает ужасный момент всеобщего возбуждения, сумятицы и боев за

самку, момент, который вообще никогда не наступает среди людей, потому что в человеческом роде любовь никогда не бывает связанною с теми или иными периодами. Поэтому из боев некоторых животных за обладание самкой нельзя заключать, что то же самое, вероятно, происходило и с человеком в естественном состоянии, а если бы и можно было сделать такой вывод, то потому как раздоры эти вовсе не уничтожают другие виды животных, следует, по меньшей мере, думать, что они не были бы более пагубными для нашего рода и, весьма очевидно, произвели бы в естественном состоянии еще меньше опустошений, чем производят они в обществе, особенно же в тех странах, где нравственность еще чего-то стоит и где ревность любовников и месть супругов вызывают ежедневно поединки, убийства и еще худшее; где долг вечной верности служит лишь к тому, чтобы вызывать прелюбодеяния, и где сами законы воздержания и чести неизбежно увеличивают разврат и множат число искусственных выкидышей.

Сделаем выводы: дикий человек, который, блуждая в лесах, не обладал трудолюбием, не знал речи, не имел жилища, не вел ни с кем войны и ни с кем не общался, не нуждался в себе подобных, как и не чувствовал никакого желания им вредить, даже, может быть, не знал никого из них в отдельности, был подвержен лишь немногим страстям, и, довольствуясь самим собою, обладал лишь теми чувствами и познаниями, которые соответствовали такому его состоянию, ощущал только действительные свои потребности, смотрел лишь на то, что, как он думал, представляло для него интерес, и его интеллект делал не большие успехи, чем его тщеславие. Если случайно делал он какое-нибудь открытие, то тем менее мог он кому-нибудь о нем сообщить, что не знал даже собственных детей. Искусство погибало вместе с изобретателем. Не было ни образования, ни прогресса, бесполезно множились поколения, и, так как каждое из них отправлялось от той же точки, то целые столетия протекали в той же первобытной грубости: род был уже стар, а человек все еще оставался ребенком.

Если я столь долго распространялся об этом предполагаемом первобытном состоянии человека, то это потому, что мне нужно уничтожить старые заблуждения и укоренившиеся предрассудки, и я счел себя обязанным докопаться до корня и показать на картине действительно есте-

ственного состояния, что неравенство, пусть даже естественное, имело в этом состоянии далеко не такие размеры и значение, как это утверждают наши писатели.

В самом деле, нетрудно увидеть, что среди тех особенностей, которые составляют различие между людьми, многие считаются естественными, тогда как они являются лишь порождением привычек и различий в образе жизни, которые становятся свойственны людям в обществе. Так, крепость или хилость телосложения и зависящие от этого сила или слабость часто определяются в большей мере тем, закалили или изнежили человека воспитанием, чем первоначальным строением его тела. Так же обстоит дело и с силами ума; и притом воспитание не только создает различия между умами образованными и необразованными, но оно увеличивает еще и различия между первыми соответственно их образованности, ибо если пойдут по одной дороге великан и карлик, то каждый шаг и первого, и второго даст новое преимущество великану. И вот, если мы сравним огромное разнообразие в способах воспитания и в образе жизни у людей различных разрядов в гражданском обществе с простотою и единообразием жизни животной и дикой, когда все питаются одною и тою же пищею, ведут одинаковый образ жизни и делают в точности одно и то же, мы поймем, насколько менее значительными должны быть различия между людьми в естественном состоянии, чем в общественном состоянии, и насколько должно увеличиться естественное неравенство внутри человеческого рода в результате неравенства, порождаемого общественными установлениями.

Но если бы природа и была столь пристрастна в распределении своих даров, как это утверждают, то какое преимущество перед остальными получили бы те, к которым она бы оказалась более всего благосклонна, при таком положении вещей, которое делало почти невозможными сношения между ними? Там, где нет никакой любви, к чему там красота? Какой прок от ума людям, которые вообще не умеют говорить, и от хитрости — тем, у которых нет никаких дел. Мне постоянно повторяют, что более сильные будут угнетать слабых. Но пусть мне объяснят, что понимают под этим словом «угнетение». Одни будут господствовать с помощью насилия, другие будут изнемогать, будучи вынуждены подчиняться всем прихотям первых. Вот как раз то, что наблюдаю я среди нас, но я не

вижу, как можно говорить это же о дикарях, которым было бы совсем даже нелегко втолковать, что такое порабощение и господство. Человек, конечно, может завладеть плодами, которые собрал другой, дичью, которую тот убил, пещерою, что служила ему убежищем, но как может он достигнуть того, чтобы заставить другого повиноваться себе? и какие могут быть узы зависимости между людьми, которые ничем не обладают? Если меня прогонят с одного дерева, то мне достаточно перейти на другое; если меня будут тревожить в одном месте, кто помешает мне пойти в другое? Если найдется человек, столь превосходящий меня силою и, сверх того, столь развращенный, столь ленивый и столь жестокий, чтобы заставить меня добывать для него пищу, тогда как он будет пребывать в праздности? ему придется поставить себе задачей ни на один миг не терять меня из виду и, ложась спать, с превеликою тщательностью связывать меня из страха, чтобы я не убежал и не убил его, т. е. ему придется добровольно обречь себя на труд гораздо более тяжкий, чем тот труд, которого он захотел бы избежать и чем тот труд, который он взвалил бы на меня. Если же, несмотря на все это, бдительность его ослабевает хоть на минуту? если внезапный шум заставит его повернуть голову? я пробегу двадцать шагов по лесу, — и вот уже оковы мои разбиты, и он не увидит меня больше никогда в жизни.

Даже если не вдаваться более в эти ненужные подробности, каждому должно быть ясно, что узы рабства образуются лишь из взаимной зависимости людей и объединяющих их потребностей друг в друге, и потому невозможно поработить какого-либо человека, не поставив его предварительно в такое положение, чтобы он не мог обойтись без другого: положение это не имеет места в естественном состоянии, и потому каждый свободен в этом состоянии от ярма, а закон более сильного там не действителен.

После того, как я доказал, что неравенство едва ощущается в естественном состоянии и что влияние его в этом состоянии почти равно нулю, мне остается показать его происхождение и развитие в ходе последующего развития человеческого ума. После того, как я показал, что *способность к совершенствованию*, общественные добродетели и другие способности, которые естественный человек получил в потенции, никогда не могли развиваться сами собою, что для этого было необходимо случайное сочетание мно-

гих внешних причин, которое могло никогда и не возникнуть, и без чего человек навсегда остался бы в своем изначальном состоянии, мне остается еще рассмотреть и сопоставить различные случайности, которые могли способствовать совершенствованию человеческого разума, вызывая одновременно вырождение человеческого рода, превращать человека в существо злое, делая его одновременно способным к общежитию, и от эпохи столь далекой дойти, в конце концов, до той поры, когда человек и мир стали такими, какими мы их видим.

Я признаюсь, что события, которые предстоит мне описать, могли происходить по-разному, и поэтому, делая свой выбор, я могу руководиться лишь теми или иными предположениями. Но кроме того, что догадки эти превращаются в доводы, если они суть наиболее вероятные из тех, которые можно вывести из природы вещей, представляют собою единственно возможные средства, чтобы открыть истину, — следствия, которые собираюсь я вывести из этих догадок, вовсе не будут из-за этого предположительными, так как, основываясь на только что установленных мною принципах, нельзя построить никакой иной системы, которая не доставила бы мне тех же результатов и из которой я не мог бы вывести тех же заключений.

Это избавит меня от необходимости развивать мои соображения о том, каким образом удаление во времени от этих событий восполняет для нас недостаточную их правдоподобность; о поразительной силе причин весьма незначительных, ежели они действуют непрерывно; о невозможности, с одной стороны, опровергнуть некоторые гипотезы, если, с другой, мы оказываемся не в состоянии придать им значение достоверных фактов; о том, что если нам даны два факта как достоверные и их нужно связать цепью фактов промежуточных, неизвестных или рассматриваемых как таковые, то это — дело истории, если она у нас есть, доставить нам факты, их соединяющие; это — дело философии, если фактов не хватает, установить сходные факты, которые могут связать первые между собою; наконец, судить о том, насколько сходство различных фактов сводит их к гораздо меньшему числу различных категорий, чем нам это представляется. Мне достаточно представить эти предметы рассмотрению моих судей; мне достаточно поступить таким образом, чтобы обычным читателям уже не было нужды их рассматривать.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Первый, кто, огородив участок земли<sup>102</sup>, придумал заявить: «Это мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли — для всех, а сама она — ничья!» Но очень похоже на то, что дела пришли уже тогда в такое состояние, что не могли больше оставаться в том же положении. Ибо это понятие — «собственность», зависящее от многих понятий, ему предшествовавших, которые могли возникать лишь постепенно, не сразу сложилось в человеческом уме. Нужно было достигнуть немалых успехов, приобрести множество навыков и познаний, передавать и увеличивать их из поколения в поколение, прежде чем был достигнут этот последний предел естественного состояния. Начнем поэтому с более ранней поры и попытаемся охватить взглядом с одной только точки зрения это медленное развитие событий и знаний в самой естественной их последовательности.

Первым чувством человека было ощущение его бытия; первой его заботой — самосохранение. Плоды земли доставляли ему все необходимые средства к жизни; инстинкт научил его ими пользоваться. Голод и другие влечения заставляли его поочередно испытать то один, то другой способ существования, и среди этих влечений было одно, звавшее его продолжать свой род — эта слепая страсть, лишенная всякого сердечного чувства, влекла за собою только акт чисто животный. Удовлетворив потребность, оба пола уже больше не узнавали друг друга, и даже ребенок ничего уже больше не значил для матери, как только он мог обойтись без нее.

Таково было положение нарождающегося человека; такова была жизнь животного, которому сначала были доступны лишь ощущения в чистом виде и которое едва пользовалось дарами, преподносимыми ему природою, еще не помышляя о том, чтобы что-нибудь у нее отвоевать. Но вскоре он столкнулся с трудностями; нужно было научиться их преодолевать. Высота деревьев, мешавшая человеку добираться до плодов; соперничество животных, которые хотели питаться этими же плодами; свирепость тех из них, которые угрожали его собственной жизни, — все заставляло его настойчиво упражнять свое тело; надо было стать ловким, быстрым в беге, сильным в борьбе. Естественные орудия — ветки деревьев и камни — вскоре попали ему под руку. Он научился преодолевать естественные препятствия, сражаться в случае необходимости с другими животными, оспаривать свою пищу даже у других людей или находить себе новую пищу взамен той, которую приходилось уступать более сильному.

По мере того, как разрастался человеческий род, трудности множились, как и люди. Различия почв, климата, времен года должны были заставить людей вносить различия и в свой образ жизни. Неурожайные годы, долгие и суровые зимы, палящий зной летом, уничтожающий всю растительность, требовали от них новой изобретательности<sup>103</sup>. На берегах морей и рек люди изобретают лесу и крючок, становятся рыболовами и начинают питаться рыбой. В лесах они себе делают луки и стрелы и становятся охотниками и воинами. Гроза, извержение вулкана или какой-нибудь другой счастливый случай знакомит их с огнем — новым средством борьбы с суровостью зимы; они научаются сохранять огонь, затем — воспроизводить его и, наконец, готовить на нем мясо, которое они прежде пожирали сырым.

Это постоянно повторяющееся сопоставление различных живых существ с собою и одних с другими естественно должно было породить в уме человека представления о некоторых соотношениях. Эти отношения, которые мы выражаем словами: большой, маленький, сильный, слабый, быстрый, медленный, боязливый, смелый, и другие подобные понятия, сравниваемые в случае необходимости и притом почти бессознательно, породили в конце концов у него что-то вроде размышления, или, скорее, какое-то

машинальное благоразумие, которое подсказывало ему предосторожности, наиболее необходимые для его безопасности.

Новые знания, которые появились в результате этого развития, увеличили превосходство его над другими животными и заставили его осознать это превосходство. Он научился ставить животным ловушки, он старался перехитрить их тысячью способов; и хотя многие из тех животных, которые могли быть для него полезны или опасны, превосходили его силою в схватке или быстротою в беге, он стал со временем господином первых и грозой вторых. И поэтому первый взгляд, брошенный человеком на себя самого, вызвал в нем первое движение гордости; и поэтому, едва научившись различать положение различных существ по отношению друг к другу и признав себя первым, как представителя своего вида, он уже исподволь готовился притязать на это первое место и как индивидуум.

Хотя ему подобные и не были для него тем же, чем являются они для нас, хотя он навряд ли имел больше общения с ними, чем с другими животными, все же и они не были забыты им в его наблюдениях. Сходные черты, которые мог он со временем подметить между ними, между своею самкою и самим собою, заставили его предполагать существование еще и других сходных черт, которые не были им замечены; и видя, что все они ведут себя так же, как и он вел бы себя при подобных обстоятельствах, он пришел к заключению, что они думают и чувствуют совершенно так же, как и он; и эта важная истина, прочно утвердившись в его уме, благодаря предчувствию столь же верному, но более быстрому, чем логическая операция, заставила его следовать наилучшим правилам поведения, которых ему надлежало с ними придерживаться, чтобы обеспечить себе преимущества и безопасность.

Наученный опытом, что стремление к благополучию — это единственная движущая сила человеческих поступков<sup>104</sup>, он стал способен отличать те редкие случаи, когда общие интересы позволяли ему рассчитывать на содействие ему подобных, и те случаи, еще более редкие, когда соперничество заставляло его их остерегаться. В первом случае он объединялся с ними в одном стаде<sup>105</sup> или, самое большее, в некоторого рода свободной ассоциации, которая ни на кого не налагала никаких обязательств и кото-

рая существовала лишь до тех пор, пока существовала кратковременная потребность, ее вызвавшая. Во втором случае, каждый стремился поставить себя в более выгодное положение, либо открыто применяя силу, если он считал это для себя возможным, либо с помощью ловкости и изворотливости, если он чувствовал себя более слабым.

Вот каким образом люди могли незаметно для самих себя приобрести некоторое грубое понятие о взаимных обязательствах и о том, сколь выгодно их исполнять, но лишь постольку, поскольку этого могли требовать интересы насущные и ощутимые, ибо они не знали, что такое предусмотрительность, и они не только не думали о далеком будущем, но не помышляли даже о завтрашнем дне. Если охотились на оленя, то каждый хорошо понимал, что для этого он обязан оставаться на своем посту, но если вблизи кого-либо из них пробежал заяц, то не приходится сомневаться, что он без зазрения совести пускался за ним вдогонку и, настигнув свою добычу, весьма мало сокрушался о том, что таким образом лишил добычи своих товарищей.

Легко понять, что для подобных сношений нужен был язык, не многим более утонченный, чем язык ворон или обезьян, которые собираются в стаи примерно по той же причине. Нечленораздельные крики, много жестов и несколько звукоподражательных шумов должны были долгое время составлять всеобщий язык; путем добавления в каждой местности нескольких членораздельных и условных звуков, возникновение которых, как я уже говорил, совсем нелегко объяснить, получились языки особые, но грубые и несовершенные, такие, примерно, какие и теперь еще встречаются у различных диких народов.

Я проношусь стрелою через множество веков, подгоняемый быстротекущим временем, обширностью того, о чем нужно мне рассказать, и тем, что вначале развитие почти не приметно, ибо чем медленнее сменяли друг друга события, тем быстрее можно их описывать.

Эти первые успехи дали, в конце концов, человеку возможность делать успехи более быстро. Чем больше просвещался ум, тем более совершенствовались изобретательность и навыки<sup>106</sup>. Вскоре люди перестали устраиваться на ночлег под первым попавшимся деревом или укрываться в пещерах; у них появилось нечто вроде топоров из твердых и острых камней для того, чтобы рубить дерево,

копать землю и строить хижины из ветвей, которые они впоследствии додумались обмазывать глиною и грязью. Это была эпоха первого переворота, который привел к установлению и выделению семей и к появлению своего рода собственности<sup>107</sup>; уже тогда из-за нее возникало, быть может, немало споров и схваток. Но так как самые сильные были, по всей вероятности, первыми, которые построили себе жилища и чувствовали себя способными их защищать, то следует полагать, что слабые сочли делом более быстрым и надежным последовать их примеру, чем пытаться выгнать их из этих жилищ; а что до тех, у которых уже были хижины, то каждый из них не слишком пытался завладеть хижинною своего соседа, не столько потому, что она принадлежала не ему, сколько потому, что она не была ему нужна и что он не мог бы ее захватить, не вступив в весьма ожесточенную схватку с семьею, ее занимавшей.

Первые душевные движения явились результатом нового положения, когда в одном общем жилище оказывались вместе мужья и жены, отцы и дети. Привычка к совместной жизни породила самые нежные из известных людям чувств — любовь супружескую и любовь родительскую. Каждая семья превращалась в маленькое общество<sup>108</sup>, сплоченное тем более тесно, что единственными узами в нем были взаимная привязанность и свобода; и тогда именно установились первые различия в образе жизни людей разного пола, которые до этого вели одинаковый образ жизни. Женщины стали чаще оставаться дома и приучились охранять хижину и детей, тогда как мужчина отправлялся добывать пищу для всех. Оба пола начали также, ведя жизнь несколько менее суровую, понемногу утрачивать свою дикость и силу. Но если каждый из них в одиночку стал менее способен сражаться с хищными зверями, зато уже оказалось, что легче защищаться от них общими силами.

В этом новом состоянии, когда жизнь была простою и уединенною, а потребности очень умеренными и люди уже изобрели орудия, чтобы эти потребности удовлетворять, у них оставалось весьма много досуга и они использовали этот досуг для того, чтобы доставлять себе разнообразные жизненные удобства, которые отцам их были неизвестны; и это было первое ярмо, которое они надели на себя, сами того не подозревая, и первый источник тех бедствий, кото-

рые они уготовили своим потомкам. Ибо, кроме того, что люди продолжали таким образом изнеживаться и телом и духом, удобства эти потеряли, благодаря привычке к ним, почти всю свою прелесть и выродились в настоящие потребности: не столь приятно было обладать этими удобствами, сколь мучительно — их лишиться, и люди чувствовали себя несчастными, потеряв их, хотя они и не чувствовали себя счастливыми, обладая ими<sup>109</sup>.

Теперь немного более понятно, как входила в употребление речь или как она незаметно совершенствовалась в кругу каждой семьи, и уже можно сделать некоторые предположения о том, как различные частные причины могли содействовать распространению речи и ускорить ее развитие, делая ее более необходимою. Большие наводнения или землетрясения окружали населенные местности водою или пропастями; совершающиеся на земном шаре перевороты отрывали от материка отдельные части и разбивали их на острова<sup>110</sup>. Понятно, что у людей, которые таким образом оказались сближенными и принужденными жить вместе, скорее должен был образоваться общий язык, чем у тех людей, которые еще вольно блуждали в лесах на материке. Весьма возможно, что после первых попыток мореплавания островитяне и принесли нам умение пользоваться речью; по меньшей мере, весьма вероятно, что общество и языки возникли на островах и достигли там совершенства прежде, чем они стали известны на материке.

Все начинает принимать иной вид. Люди, блуждавшие до сих пор в лесах, теперь уже ведут более оседлый образ жизни и понемногу сближаются, соединяются в разные стада и, наконец, образуют в каждой стране отдельный народ, объединенный нравами и обычаями, не какими-либо уставами и законами, а одинаковым образом жизни, одинаковым питанием и общим влиянием климата. Постоянное соседство не может, в конце концов, не породить некоторой близости между различными семьями. Молодежь обоего пола живет в соседних хижинах. Кратковременная связь, которой требует природа, приводит вскоре, в результате взаимных посещений, к связи не менее приятной, но более постоянной. Люди привыкают присматриваться к различным предметам и сравнивать; незаметно для самих себя они приобретают понятия о достоинствах

и красоте, которые заставляют их оказывать предпочтение тому или другому. Привыкшие видеть друг друга, люди не могут обойтись без того, чтобы не видеть друг друга еще и еще. В душу закрадывается нежное и сладкое чувство, но, встретив хоть малейшее сопротивление, оно превращается уже в неукротимую страсть. Вместе с любовью просыпается ревность; раздор торжествует, и нежнейшей из страстей приносится в жертву человеческая кровь.

По мере того, как понятия и чувства возникают одно за другим, по мере того, как развиваются ум и сердце, род человеческий постепенно выходит из состояния дикости, связи расширяются, а узлы становятся все более тесными. Люди привыкают собираться вместе перед хижинами или вокруг большого дерева; пение и пляски — истинные детища любви и досуга стали развлечением, или скорее занятием для праздных мужчин и женщин, объединенных в том или другом скопище. Каждый начал присматриваться к другим и стремиться обратить внимание на себя самого, и некоторую цену приобрело общественное уважение. Тот, кто лучше всех пел или плясал, самый сильный, самый красивый, самый ловкий, самый красноречивый становился наиболее уважаемым, — и это было первым шагом одновременно и к неравенству и к пороку. Из этих первых предпочтений родились, с одной стороны, тщеславие и презрение, а с другой — стыд и зависть; и брожение, вызванное этою новой закваскою, дало в конце концов соединения гибельные для счастья и невинности.

Как только люди начали взаимно оценивать друг друга и как только в их уме сложилось понятие об уважении, каждый начал на него предъявлять права, и стало уже невозможно безнаказанно отказывать в нем кому бы то ни было. Отсюда возникли первые правила обхождения, даже среди дикарей, и поэтому всякая умышленная обида превращается в оскорбление, ибо наряду с причиненным обидою злом каждый видел в ней и презрение к его личности, часто более непереносимое, чем само зло. А так как каждый платил за презрение, ему оказанное, сообразно тому, насколько значительным он считал себя, то месть стала ужасною, а люди — кровожадными и жестокими. Это — именно та ступень развития, которой достигло большинство диких народов, нам известных; а так как многие не делали достаточного различия между понятиями и не

заметили, что эти народы уже далеки от первоначального естественного состояния, то они и поспешили сделать заключение, что человек от природы жесток<sup>111</sup> и что он нуждается для смягчения его нравов в наличии внутреннего управления; между тем нет ничего более кроткого, чем человек в первоначальном состоянии, когда поставленный природою равно далеко от неразумия животных и от гибельных познаний человека в гражданском состоянии, побуждаемый равно инстинктом и разумом<sup>112</sup> лишь к тому, чтобы ограждать себя от зла, ему угрожающего, он удерживается естественною сострадательностью от того, чтобы самому кому-либо причинять зло, и притом ничто не влечет его к этому, хотя бы даже ему и содейали какое-нибудь зло. Ибо, согласно аксиоме мудрого Локка<sup>113</sup>, *не может быть причинен ущерб там, где полностью отсутствует собственность.*

Следует, однако, отметить, что складывающееся общество и отношения, уже установившиеся между людьми, потребовали от них качеств, отличных от тех, которыми они обладали по изначальной своей природе: в человеческих поступках начинает проявляться понятие о морали, а так как до появления законов каждый был единственным судьей полученных им обид и единственным мстителем за них, то доброта, уместная в чисто естественном состоянии, была уже неуместна в условиях образующегося общества; необходимо было, чтобы наказания становились более суровыми, по мере того как учащались случаи нанесения обид, и страху мести надлежало заменить собою узду законов. Таким образом, хотя люди и стали менее выносливы и естественная сострадательность подверглась уже некоторому ослаблению, все же этот период развития человеческих способностей, лежащий как раз посредине<sup>114</sup> между безразличием изначального состояния и бурною деятельностью нашего самолюбия, должен был быть эпохой самой счастливою и самой продолжительною. Чем больше размышляешь об этом состоянии, тем более убеждаешься, что оно было менее всех подвержено переворотам, что оно было наилучшим для человека и ему пришлось выйти из этого состояния лишь вследствие какой-нибудь гибельной случайности, которой, для общей пользы, никогда не должно было бы быть. Пример дикарей, которых почти всех застали на этой ступени развития,



кажется, доказывает, что человеческий род был создан для того, чтобы оставаться таким вечно, что это состояние является настоящею юностью мира, и все его дальнейшее развитие представляет собою по видимости шаги к совершенствованию индивидуума, а на деле — к одряхлению рода.

До тех пор, пока люди довольствовались своими убогими хижинами, пока они ограничивались тем, что шили себе одежды из звериных шкур с помощью древесных шипов или рыбьих костей, украшали себя перьями и раковинами, расписывали свое тело в различные цвета, совершенствовали или украшали свои луки и стрелы, выдалбливали с помощью острых камней какие-нибудь рыбачьи лодки или грубые музыкальные инструменты, словом, пока они были заняты лишь таким трудом, который под силу одному человеку, и только такими промыслами, которые не требовали участия многих рук, они жили, свободные, здоровые, добрые и счастливые, насколько они могли быть такими по своей природе, и продолжали в отношениях между собою наслаждаться всеми радостями общения, не нарушавшими их независимость<sup>115</sup>. Но с той минуты, как один человек стал нуждаться в помощи другого, как только люди заметили, что одному полезно иметь запас пищи на двоих<sup>116</sup>, — исчезло равенство, появилась собственность, труд стал необходимостью, и обширные леса превратились в радующие глаз нивы, которые надо было орошать человеческим потом и на которых вскоре были посеяны и выросли вместе с урожаем рабство и нищета.

Искусство добывания и обработки металлов и земледелие<sup>117</sup> явились теми двумя искусствами, изобретение которых произвело этот огромный переворот<sup>118</sup>. Золото и серебро — на взгляд поэта, железо и хлеб — на взгляд философа — вот что цивилизовало людей и погубило человеческий род. Ведь ни то, ни другое не были известны дикарям Америки, которые потому-то и остались навсегда дикарями; а другие народы, по-видимому, оставались в состоянии варварства и тогда, когда они уже применяли одно из этих искусств без другого. И, быть может, одно из лучших объяснений тому, что Европа оказалась, если не раньше, то, по меньшей мере, прочнее и лучше цивилизованною<sup>119</sup>, чем другие части света, состоит в том, что она одновременно и богаче всех железом и родит больше всех хлеба.

Трудно догадаться, как люди пришли к знакомству с железом и научились им пользоваться, ибо невероятно, чтобы они сами додумались добывать это вещество из рудников и подвергать его необходимой предварительной обработке, чтобы расплавить, не зная еще, что из этого получится. С другой стороны, в еще меньшей степени можно приписать это открытие какому-нибудь случайному пожару, так как залежи руды образуются только в бесплодных местах<sup>120</sup>, лишенных деревьев и растительности, и можно сказать, что природа позаботилась о том, чтобы скрыть от нас эту роковую тайну. Остается, таким образом, предположить лишь такого рода чрезвычайное обстоятельство, как то, что какой-нибудь вулкан, извергающий расплавленные металлы, внушил людям, наблюдавшим это, мысль воспроизвести эту деятельность природы. И нужно еще предположить, что обладали эти люди немалым мужеством и немалою предусмотрительностью, чтобы взяться за столь трудную работу и в такой мере предвидеть те выгоды, которые они смогут из этого извлечь; ведь это доступно лишь умам уже более развитым, чем должны были быть их умы в то время.

Что до земледелия, то принцип его был известен задолго до того, как оно стало для людей привычным занятием, и почти невозможно, чтобы у людей, непрерывно занятых добыванием себе пищи — плодов деревьев и растений, не появилось в достаточном скором времени понятие о том, — какими путями природа осуществляет размножение растений. Но их изобретательность, вероятно, обратилась в эту сторону лишь очень поздно — потому ли, что деревья, которые наряду с охотой и рыбной ловлей доставляли им пищу, не нуждались в их заботах, либо потому, что не знали они употребления хлебных злаков, либо потому, что у них не было орудий, чтобы эти злаки возделывать, либо потому, что не обладали они способностью предвидеть свои будущие потребности, либо, наконец, потому, что у них не было средств помешать другим завладеть плодами их труда. Когда люди стали более изобретательными, можно полагать, что они начали с помощью острых камней или заостренных палок сажать вокруг своих хижин кое-какие овощи и корни<sup>121</sup>, еще задолго до того, как научились готовить открытое поле и приобрели орудия, необходимые для земледелия в больших размерах. Но

тогда пришлось бы оставить без внимания то обстоятельство, что, отдавая свои силы этому занятию и засевая землю, люди должны были решиться сначала кое-чем пожертвовать, чтобы затем приобрести многое. Однако такая предусмотрительность плохо вяжется со складом ума дикаря, которому очень трудно, как я говорил, подумать поутру о том, что понадобится ему вечером.

Таким образом, необходимо было изобретение других искусств, чтобы приобщить человеческий род к искусству земледелия. Как только появилась нужда в том, чтобы одни люди плавил и ковали железо, необходимо было, чтобы другие люди их кормили. Чем больше умножалось число рабочих, тем меньше оказывалось рук, чтобы добывать пищу для всех, но ртов, которые требовали пищи, не становилось меньше; а так как одним нужны были продукты питания в обмен на их железо, то другие открыли, в конце концов, секрет, как использовать это железо, чтобы умножать съестные припасы. Отсюда возникли, с одной стороны, землепашество и сельское хозяйство, а с другой — искусство обрабатывать металлы и расширять область их применения<sup>122</sup>.

Неизбежным следствием обработки земли был ее раздел, а как только была признана собственность, должны были появиться первые уставы правосудия. Ибо, чтобы определить каждому — *его*, нужно, чтобы каждый мог чем-нибудь обладать; кроме того, когда люди стали заглядывать в будущее и увидели, что все они могут кое-что потерять, среди них уже не оказалось ни одного, кому не приходилось бы страшиться возмездия за тот ущерб, который он мог нанести другому. Так объяснить происхождение собственности тем более естественно, что невозможно себе представить, чтобы это понятие — собственность — возникло иначе, как из трудовой деятельности, ибо мы не видим, что, кроме своего труда, человек мог внести в что-либо не им созданное, чтобы себе это присвоить. Один только труд, давая земледельцу право на продукты земли, им обработанной, дает ему, следовательно, право и на землю, по меньшей мере, до сбора урожая, — и так из года в год, что, делая обладание непрерывным, легко превращается в собственность. Когда древние, говорит Гроций, прозвали Цереру законодательницей<sup>123</sup>, а праздник, справлявшийся в ее честь, называли фесмофориями<sup>124</sup>, то они желали

этим дать понять, что раздел земли привел к возникновению нового вида права, а именно права собственности, отличного от права, которое вытекает из естественного закона.

При таком положении вещей равенство могло бы сохраниться, если бы люди обладали одинаковыми дарованиями и если бы, к примеру, использование железа и потребление продуктов питания постоянно находились в точном равновесии. Но соответствие, ничем не поддерживаемое, было вскоре нарушено: самый сильный производил своим трудом больше, чем другие, самый искусный извлекал большие выгоды из своей работы, самый изобретательный находил способы сократить затраты труда, землепашец мог больше нуждаться в железе, или кузнец — в хлебе, и при одинаковой затрате труда один зарабатывал много, а другой едва существовал. Так незаметно обнаруживает свое возрастающее значение естественное неравенство наряду со складывающимся неравенством<sup>125</sup>, и различия между людьми, углубляясь в силу различия внешних обстоятельств, делаются более ощутимыми, более постоянными в своих проявлениях и начинают в той же мере влиять на судьбы отдельных лиц.

Когда дела уже пришли в такое состояние, то легко представить себе все остальное. Я не стану задерживаться здесь на описании того, как, одно за другим, изобретались другие искусства, как развивались языки, как проверялись на деле и находили себе применения дарования, как возрастало неравенство состояний, как использовались и какие злоупотребления порождали богатства, не буду приводить все те подробности, которые с этим связаны и которые каждый может легко восполнить. Я ограничусь лишь тем, что окину взглядом весь род человеческий при этом новом положении вещей.

И вот уже все наши способности получили полное развитие, действуют память и воображение, настороже — самолюбие, становится деятельным разум, и ум уже почти достиг доступного ему предела совершенства. Вот уже наши естественные свойства приведены в действие, положение и участь каждого человека определяются не только размерами его имущества и его способностью приносить пользу или наносить вред, но его умом, красотой, силою или ловкостью, заслугами или дарованиями, а так как

одни только эти качества могли принести уважение, то вскоре потребовалось иметь эти качества или делать вид, что ими обладаешь; стало выгоднее притворяться не таким, каков ты есть на самом деле. Быть и казаться — это, отныне, две вещи совершенно различные<sup>126</sup>, и следствием этого различия явились и внушающий почтение блеск, и прикрытая обманом хитрость, и все те пороки, что составляют их свиту. С другой стороны, из свободного и независимого, каким был человек прежде, он стал, таким образом, в результате появления множества новых потребностей, подвластен, так сказать, всей природе и, в особенности, себе подобным; он становится, в некотором смысле, их рабом, даже становясь их господином<sup>127</sup>, если он богат — он нуждается в их службе, если он беден — он нуждается в их помощи, и, даже занимая среднее положение между тем и другим, он не в состоянии обойтись без других людей. Поэтому ему приходится беспрестанно стараться заинтересовать себе подобных в своей судьбе и заставить их находить действительную или кажущуюся выгоду в том, чтобы трудиться для его пользы: это делает его лукавым и изворотливым с одними, непреклонным и жестоким с другими и приводит его к необходимости обманывать всех тех, в ком он нуждается, если он не может их заставить себя бояться и если он не видит свою выгоду в том, чтобы служить им с пользою для себя. Наконец, ненасытное честолюбие, страсть к увеличению относительных размеров своего состояния, не так в силу действительной потребности, как для того, чтобы поставить себя выше других, внушает всем людям низкую склонность взаимно вредить друг другу, тайную зависть, тем более опасную, что, желая вернее нанести удар, она часто рядится в личину благожелательности; словом, состязание и соперничество, с одной стороны, противоположность интересов — с другой, и повсюду — скрытое желание выгадать за счет других. Все эти бедствия — первое действие собственности и неотделимая свита нарождающегося неравенства.

До тех пор, пока не были изобретены знаки, представляющие богатства, эти последние могли состоять разве что из земель и скота — единственного вещного имущества, каким могут обладать люди. Но когда владения, переходящие по наследству, возросли в числе и размерах на-

столько, что покрыли собою всю землю и стали все соприкасаться друг с другом, то одни владения могли расти уже только за счет других, и остальные люди, оставшиеся ни с чем, так как слабость или беспечность помешали им, в свою очередь, приобрести земельные участки, стали бедняками, ничего не потеряв<sup>128</sup>; все изменилось вокруг них, но сами они не изменились и оказались вынужденными получать или похищать средства к существованию из рук богатых; и отсюда начали возникать, в зависимости от различий в характерных особенностях тех и других, господство и порабощение или насилие и грабежи. Богатые, со своей стороны, едва успев познать наслаждение властью, стали вскоре презирать всех остальных и, используя своих прежних рабов, чтобы подчинить себе новых, они только и помышляли о покорении и о порабощении своих соседей, подобно тем голодным волкам, которые, раз отведав человеческого мяса, отвергают всякую другую пищу и бросаются только на людей.

Таким образом, самые могущественные или самые бедствующие обратили свою силу или свои нужды в своего рода право на чужое имущество, равносильное в их глазах праву собственности, и за уничтожением равенства последовали ужаснейшие смуты: так несправедливые захваты богатых, разбои бедных и разнузданные страсти и тех и других, заглушая естественную сострадательность и еще слабый голос справедливости, сделали людей скупыми, честолюбивыми и злыми. Начались постоянные столкновения права сильного с правом того, кто пришел первым, которые могли заканчиваться лишь сражениями и убийствами<sup>(IX)</sup>. Нарождающееся общество пришло в состояние самой страшной войны: человеческий род, погрязший в пороках и отчаявшийся, не мог уже ни вернуться назад, ни отказаться от злосчастных приобретений, им сделанных; он только позорил себя, употребляя во зло способности, делающие ему честь, и сам привел себя на край гибели.

*Attonitus novitate mali, divesque, miserque,  
Effugere optat opes, et quæ modo voverat odit\*.*

Люди не могли в конце концов не задуматься над этим столь бедственным положением и над несчастьями, на них

\* Зла новизной поражен и богач, и бедняк в то же время, Гад бы бежать он теперь от богатств, столь недавно желанных.  
Овидий. *Метаморфозы*, XI, 127—128 (лат.)<sup>129</sup>.

обрушившимися. Богатые в особенности должны были вскоре почувствовать, насколько невыгодна для них эта постоянная война, все издержки которой падали на них и в коей опасность для жизни была общей, а для имущества — односторонней. Впрочем, какой благовидный вид они ни придавали бы своим захватам, они понимали достаточно хорошо, что последние основываются лишь на шатком и ложном праве; и раз то, что было ими захвачено, они приобрели лишь с помощью силы, то силою же можно было это у них отнять, причем у них не было никаких оснований на это жаловаться. Даже те, которых обогатило одно трудолюбие, едва ли могли лучше обосновать право на свою собственность. Напрасно бы они говорили: «Ведь это я построил эту стену, я приобрел этот участок земли своим трудом». «Но кто определил границы ваших владений? — могли бы им ответить, — и на каком основании притязаете вы на то, чтобы вам за наш счет уплатили за тот труд, который мы на вас вовсе не возлагали? Разве вам неизвестно, что множество ваших братьев погибает или страдает от недостатка того, чего у вас слишком много, и что вам нужно категорическое и единодушное согласие человеческого рода, чтобы присвоить себе из общих средств существования то, что превышает вашу потребность?» Не имея веских доводов, чтобы оправдаться, и достаточных сил, чтобы защищаться, легко одолевая отдельного человека, но сам одолеваемый разбойничьими шайками, один против всех, ибо, по причине взаимной зависти, он не мог объединиться с равными ему, чтобы бороться с врагами, объединенными общею надеждою на удачный грабеж, — богатый составил, наконец, под давлением необходимости наиболее обдуманый из всех планов, которые когда-либо зарождались в человеческом уме: обратить себе на пользу самые силы тех, кто на него нападал, превратить своих противников в своих защитников, внушить им иные принципы и дать им иные установления, которые были бы для него настолько же благоприятны, сколь противоречило его интересам естественное право<sup>130</sup>.

С этой целью, показав предварительно своим соседям все ужасы такого состояния, которое вооружало их всех друг против друга, делало для них обладание имуществами столь же затруднительным, как и удовлетворение потребностей; состояния, при котором никто не чувствовал себя

в безопасности, будь он беден или богат, — он легко нашел доводы, на первый взгляд убедительные, чтобы склонить их к тому, к чему он сам стремился. «Давайте объединимся, — сказал он им, — чтобы оградить от угнетения слабых, сдержать честолюбивых и обеспечить каждому обладание тем, что ему принадлежит; давайте установим судебные уставы и мировые суды, с которыми все обязаны будут сообразоваться, которые будут нелицеприятны и будут в некотором роде исправлять превратности судьбы, подчиняя в равной степени могущественного и слабого взаимным обязательствам. Словом, вместо того, чтобы обращать наши силы против себя самих, давайте соединим их в одну высшую власть, которая будет править нами, согласно мудрым законам, власть, которая будет оказывать покровительство и защиту всем членам ассоциации, отражать натиск врагов и поддерживать среди нас вечное согласие».

Даже и подобной речи не понадобилось, чтобы увлечь грубых и легковверных людей, которым к тому же нужно было разрешить слишком много споров между собою, чтобы они могли обойтись без арбитров, и которые были слишком скупы и честолюбивы, чтобы они могли долго обходиться без повелителей. Все бросились прямо в оковы, веря, что этим они обеспечат себе свободу, ибо, будучи достаточно умны, чтобы постигнуть преимущества политического устройства, они не были достаточно искушенными, чтобы предвидеть связанные с этим опасности. Предугадать, что это приведет к злоупотреблениям, скорее всего способны были как раз те, кто рассчитывал из этих злоупотреблений извлечь пользу, и даже мудрецы увидели, что надо решиться пожертвовать частью своей свободы, чтобы сохранить остальную, подобно тому, как раненый дает себе отрезать руку, чтобы спасти все тело.

Таково было или должно было быть происхождение общества и законов, которые наложили новые путы на слабого и придали новые силы богатому<sup>(X)</sup>, безвозвратно уничтожили естественную свободу, навсегда установили закон собственности и неравенства<sup>131</sup>, превратили ловкую узурпацию в незыблемое право и ради выгоды нескольких честолюбцев обрекли с тех пор весь человеческий род на труд, рабство и нищету. Легко видеть, почему образование одного только общества сделало неизбежным образование



всех остальных и почему, чтобы противостоять силам соединенным, в свою очередь, нужно было соединиться. Быстро умножаясь в числе или распространяясь, общества вскоре покрыли всю поверхность земли; и уже невозможно было найти во всем мире хотя бы один уголок, где бы можно было сбросить с себя ярмо и отвести голову от меча, который часто направлялся неуверенною рукою, но был постоянно занесен над головой каждого человека. После того, как гражданское право стало таким образом законом, общим для всех граждан, естественный закон применялся уже только в области отношений между различными обществами, где под названием международного права он был смягчен некоторыми молчаливыми соглашениями, чтобы сделать возможным общение и чтобы создать некоторую замену естественной сострадательности: она теряет в отношениях между обществами почти всю ту силу, которой она обладала в отношениях между людьми, и продолжает жить лишь в великих душах немногих граждан мира<sup>132</sup>, которые переносятся через воображаемые преграды между народами и, по примеру всевышнего Существа, их создавшего, распространяют свою благожелательность на весь человеческий род.

Политические организмы, оставаясь, таким образом, в отношениях между собой в естественном состоянии<sup>133</sup>, уже скоро испытали на себе те же неудобства, которые, ранее, заставили отдельных людей выйти из этого состояния; и состояние это стало еще более пагубным для отношений между этими большими Организмами, чем оно было ранее для отношений между индивидуумами, их составляющими. Отсюда произошли войны между народами, сражения, убийства, насилия, которые приводят в содрогание природу и возмущают разум, и все те ужасные предразсудки, которые возводят в ранг добродетелей почет, приобретаемый кровопролитием. Самые почтенные мужи научились считать одной из своих обязанностей — уничтожать себе подобных; в конце концов, люди стали убивать друг друга тысячами, сами не ведая из-за чего, и за один день сражения совершалось больше убийств, и при взятии одного города — больше гнусных дел, чем совершилось их в естественном состоянии на протяжении целых веков на всей земле. Таковы первые открывающиеся нам последствия разделения человеческого рода на различные общества. Обратимся к тому, как сие совершилось.

Я знаю, что многие объясняют возникновение политических обществ другими причинами, как, например, завоеваниями более могущественного<sup>134</sup> или объединением слабых<sup>135</sup>; впрочем, остановимся ли мы на той или иной из этих причин не имеет никакого значения для того, что я хочу установить. Однако причина, только что мною указанная, представляется мне самой естественною в силу следующих соображений. В первом случае право завоевания, не будучи вообще правом, не может служить основанием для какого-либо другого права, ибо завоеватель и завоеванные народы всегда остаются в состоянии войны между собою, если только нация, вновь обретя полную свободу, не изберет добровольно своим главой своего победителя. До этого, какие бы неравноправные договоры ни имели место — все они основываются лишь на насилии и, следовательно, в силу одного этого факта, недействительны; принимая эту гипотезу, мы не увидим здесь ни подлинного общества, ни Политического организма, ни иного закона, кроме закона более сильного<sup>136</sup>. Во втором случае, слова *сильный* и *слабый* — двусмысленны; для того промежутка времени, который отделяет установление права собственности или первой заимки от установления политических Правлений, смысл этих терминов лучше передается терминами *бедный* и *богатый*, потому что до появления законов богатый и в самом деле не имел никакого другого средства подчинить равных себе, как посягнуть на их имущество или уделить им часть своего. В-третьих, так как бедным нечего было терять, кроме своей свободы, то с их стороны было бы величайшим безумием, если бы они добровольно лишили себя единственного оставшегося у них достояния, ничего не приобретая взамен; напротив, богатые были, так сказать, уязвимы во всех частях их достояний и поэтому причинить им ущерб было гораздо легче, следовательно, им приходилось принимать гораздо больше предосторожностей, чтобы оградить себя от этого; наконец, разумно предположить, что скорее нечто было изобретено теми, кому это было полезно, чем теми, кому это приносит вред.

Нарождающееся Правление не имело никакой постоянной и регулярной формы. При отсутствии философии и опыта можно было увидеть только уже представившиеся неудобства, а об исправлении остальных начинали думать

лишь по мере того, как они обнаруживались. Несмотря на все труды мудрейших Законодателей, политическое устройство оставалось все же несовершенным, потому что оно было почти всецело делом случая, а так как это устройство было плохим с самого начала, то с течением времени могли быть обнаружены его недостатки, найдены средства их устранения, но никак не исправлены пороки, лежащие в его основе: без конца чинили, тогда как нужно было сначала расчистить место для постройки и убрать старые материалы, как это сделал Ликург в Спарте<sup>137</sup>, чтобы затем уже воздвигнуть добротное здание. Общественное состояние сначала заключалось лишь в том, что были приняты несколько соглашений общего характера, которые все частные лица обязывались соблюдать, а за соблюдение этих соглашений перед каждым из них ручалась община. Нужно было, чтобы опыт показал, насколько слабым было подобное устройство и как легко было нарушителям соглашений избежать изобличения или наказания за провинности, свидетелем и судьей которых должно было быть лишь само общество; нужно было, чтобы закон стали обходить тысячами способов, нужно было, чтобы неудобства и беспорядки продолжали беспрестанно умножаться, чтобы людям в конце концов пришла мысль верить отдельным лицам опасную вещь — публичную власть и возложить на магистратов заботу надзирать за соблюдением решений народа. Ибо утверждать, что правители были избраны до того, как была образована конфедерация, и что служители законов существовали ранее самих законов, — это такое предположение, которое даже нельзя всерьез опровергать.

Не более разумно было бы полагать, что народы с самого начала бросились в объятия неограниченного властителя без всяких условий и безвозвратно, и что первое средство обеспечить общую безопасность, до которого додумались люди, гордые и не знавшие порабощения, состояло в том, чтобы как можно скорее отдать себя в рабство<sup>138</sup>. В самом деле, для чего поставили они над собою начальников, как не для того, чтобы защищать себя от угнетения и охранять свое имущество, свою свободу и свою жизнь, которые суть, так сказать, составные элементы их бытия? Таким образом, если, с точки зрения отношений между людьми, с человеком не может случиться ничего худшего, как видеть себя отданным на милость другого человека, то разве не

было бы противно здравому смыслу, если бы люди с самого начала лишили себя, отдав их в руки правителя, тех единственных благ, для сохранения которых им нужна была его помощь? Что мог он им предложить взамен за уступку столь прекрасного права? и если бы он осмелился все же потребовать этой уступки под тем предлогом, что это необходимо для их защиты, то разве не услышал бы он тотчас в ответ слова из басни<sup>139</sup>: «А что же, еще худшее, может причинить нам враг?» Стало быть, бесспорно — и это основное положение конституционного права в целом, — что народы поставили над собою правителей, чтобы защищать свою свободу, а не для того, чтобы обратить себя в рабов. *На то у нас и есть государь*, говорил Плиний Траяну<sup>140</sup>, *чтобы предохранить нас от появления повелителя.*

Наши политики изрекают о любви к свободе такие же софизмы, какие наши философы изрекали о естественном состоянии. На основании того, что они видят, они судят о совершенно других вещах, которые они никогда не видели, и приписывают людям естественную склонность к рабству, потому что люди, которых видят они перед собою, терпеливо сносят это свое рабское состояние; они не задумываются над тем, что со свободой дело обстоит так же как с невинностью и добродетелью, цену которым ощущаешь лишь до тех пор, пока ими обладаешь, и вкус к которым утрачиваешь, едва только их потеряешь. «Я знаю утехи твоей страны, — говорил Брасид<sup>141</sup> одному сатрапу, который сравнил уклад жизни в Спарте с укладом жизни в Персеполисе<sup>142</sup>, — но отрады моего отечества не могут быть тебе известны».

Как не знавший узды дикий скакун вздымает гриву, бьет копытами о землю и яростно отбивается, как только к нему приближаются с удилами, тогда как выездженная лошадь терпеливо сносит и хлыст и шпоры, так и дикарь не может склонить голову под ярмо, которое человек цивилизованный несет безропотно, и предпочитает свободу полную тревог спокойствию порабощения. Не по глубокому падению порабощенных народов нужно судить о естественном предрасположении человека к рабству или против рабства, но по тем чудесам, которые совершили все свободные народы, чтобы оградить себя от угнетения. Я знаю, что первые не устают превозносить мир и спокойствие, которыми они наслаждаются в своих оковах, и что они

*miserrimam servitutem pacem appellant\**. Но когда я вижу, что вторые жертвуют удовольствиями, покоем, богатством, властью и даже самою жизнью, чтобы сохранить только это достояние, к которому с таким пренебрежением относятся те, кто его потеряли, когда я вижу, как животные, которые рождены свободными и ненавидят неволю, разбивают голову о прутья своей тюрьмы, когда я вижу, как толпы совершенно нагих дикарей презирают наслаждения европейцев и не обращают внимания на голод, огонь, железо и смерть, чтобы сохранить свою независимость, я понимаю, что не рабам пристало рассуждать о свободе.

Что до власти отцовской, из которой многие<sup>143</sup> выводили происхождение власти неограниченного правителя Государства и вообще общества, то, не прибегая даже к тем доказательствам противного, которые уже дали Локк<sup>144</sup> и Сидней<sup>145</sup>, достаточно будет указать, что нет ничего более далекого от жестокого духа деспотизма, чем мягкость этой власти<sup>146</sup>, поскольку она больше заботится о выгоде того, который повинуетя, чем о пользе того, который приказывает; что по закону природы отец является повелителем ребенка лишь до тех пор, пока тому необходима его помощь, а после окончания этого срока они становятся равными и тогда сын, полностью независимый от отца, обязан почитать его, но не повиноваться, ибо признательность, конечно, является долгом, который нужно выполнять, но не правом, которого можно для себя требовать. Вместо того, чтобы утверждать, что гражданское общество происходит из отцовской власти, следовало бы говорить, напротив, что именно от общества эта власть получает свою главную силу. Какой-либо индивидуум был признаваем отцом многих лишь пока они оставались собранными вокруг него. Узами, удерживающими детей в подчинении отцу, является лично принадлежащее ему его имущество: и он может оставить им в наследство часть, пропорциональную тому, что они заслужат у него постоянным соблюдением его воли. Однако подданные отнюдь не могут ожидать подобной милости от своего деспота, так как они сами и все то, чем они обладают, представляет собой его собственность, или по крайней мере он притязает на это:

\* Жалкое рабство называют миром (лат.). Тацит. История, кн. IV, гл. XVII<sup>147</sup>.

они вынуждены получать как милость то, что он оставляет им из их собственного имущества. Он отправляет правосудие, когда их обирает, он милует их, оставляя им жизнь.

Если бы мы продолжали таким образом рассматривать факты с точки зрения права<sup>148</sup>, то нашли бы, что предположение о добровольном установлении тирании имеет столь же мало основательности, как и истинности, и было бы трудно объяснить, как может иметь силу какой-либо договор, налагающий обязательства только на одну из сторон, в котором все возлагается только на нее и который оборачивался бы во вред тому, кто по этому договору берет на себя обязательства. Эта отвратительная система рассуждений очень далека от того, чтобы применяться даже в наши дни мудрыми и добрыми монархами, особенно же королями Франции, как это можно видеть из различных мест их эдиктов и в частности из следующего известного сочинения<sup>149</sup>, обнародованного в 1667 году от имени и по приказанию Людовика XIV: *«Пусть же не смеют говорить, что суверен не подвластен законам его Государства, потому что положение обратное — это истина международного права, которую льстецы иногда оспаривали, но которую добрые государи всегда почитали как божество — покровительницу их государств. Насколько справедливее сказать вместе с Платоном, что для полного благополучия королевства нужно, чтобы подданные повиновались государю, чтобы государь повиновался Закону и чтобы Закон был справедлив и всегда был направлен к общественному благу»*. Я не стану вовсе останавливаться на исследовании вопроса о том, что, если свобода является благороднейшей из способностей человека, то не унижает ли он свое естество, не низводит ли он себя до уровня животных — рабов инстинкта — и не оскорбляет ли он своего создателя, если отказывается безоговорочно от этого драгоценнейшего из всех его даров, если он позволяет совершаться всем тем преступлениям, которые тот запрещает совершать нам, для того чтобы угодить свирепому или безумному господину, и не бóльшим ли должно быть возмущение сего блистательного работника, если он увидит прекраснейшее свое создание обесчещенным, чем если увидит он его уничтоженным. Я пренебрегу, если угодно, авторитетным мнением Барбейрака, который ясно заявляет, следуя Локку<sup>150</sup>, что никто не может настолько продать

свою свободу, чтобы подчиниться самовластной силе, которая обходилась бы с ним по своей прихоти: *«Ибо, — добавляет он, — это означало бы продать свою собственную жизнь, которая нам не принадлежит»*. Я спрошу только, по какому праву те, которые не побоялись унижить самих себя до такой степени, смогли подвергнуть такому же бесчестию свое потомство и отказаться за него от тех благ, которыми оно обязано отнюдь не их щедротам и без которых сама жизнь становится в тягость для всех тех, кто ее достоин.

Пуфендорф говорит<sup>151</sup>, что точно так же, как мы передаем другим свое имущество посредством соглашений и договоров, мы можем лишиться себя свободы в чью-либо пользу. Это кажется мне совершенно неправильным рассуждением. Ибо, во-первых, имущество, мною отчуждаемое, превращается в нечто совершенно для меня чуждое, и мне безразлично, будут ли употреблять его во зло или нет; но весьма важно для меня, чтобы никоим образом не злоупотребляли моей свободой; и я не могу, не становясь виновным в том зле, которое меня заставят совершать, подвергать себя опасности превратиться в орудие преступления. Кроме того, так как право собственности является лишь результатом соглашений между людьми и людьми же установлено, то всякий человек по своему желанию может распоряжаться тем, что ему принадлежит. Но не так обстоит дело с основными дарами природы, такими, как жизнь и свобода, пользоваться коими разрешено каждому; и, по меньшей мере, сомнительно, чтобы люди были вправе лишиться себя этих даров природы: лишая себя одного из этих даров, мы унижаем свое естество, отнимая у себя другой — мы свое естество уничтожаем, поскольку оно в этом и заключается, и так как никакое земное благо не может вознаградить нас за утрату обоих этих даров, то отказываться от них за какую бы то ни было цену значило бы нанести оскорбление одновременно и природе, и разуму. Но если бы и можно было отчуждать свою свободу, как свое имущество, то разница была бы все же очень велика для детей, которые пользуются имуществом отца лишь вследствие передачи им его прав, тогда как свобода — это дар, который они получают от природы как люди, и поэтому у их родителей нет никакого права лишать их этого дара. Следовательно, подобно тому, как, чтобы

установить рабство, пришлось совершить насилие над природой, так и для того, чтобы увековечить право рабовладения, нужно было изменить природу; и юрисконсульты, которые с важностью провозгласили<sup>152</sup>, что дитя рабыни рождается рабом, постановили иными словами, что человек не рождается человеком.

Мне, стало быть, представляется бесспорным не только то, что различные виды Правления вовсе не имели своим источником неограниченную власть, которая есть лишь извращение Правления, крайний его предел и приводит его в конце концов к тому же закону более сильного, средством преодоления которого и были различные виды Правления; но, кроме того, что если бы даже они с этого и начинались, то такая власть, будучи по своей природе незаконной, не могла служить основанием ни прав общества, ни, следовательно, неравенства, вводимого установлениями.

Не вдаваясь сейчас в разыскания по вопросу о природе первоначального соглашения, лежащего в основе всякой Власти, я ограничусь тем, что, следуя общепринятому мнению<sup>153</sup>, буду здесь рассматривать создание Политического организма как подлинный договор между народом и правителями, которых он себе выбирает<sup>154</sup>, договор, по которому обе стороны обязуются соблюдать законы, в нем обусловленные и образующие связи их союза. Так как народ, в том, что касается до отношений внутри общества, соединил все свои желания в одну волю, то все статьи, в которых эта воля выражается, становятся основными законами, налагающими определенные обязательства на всех членов Государства без исключения<sup>155</sup>, а один из этих законов определяет порядок избрания и власть магистратов<sup>156</sup>, уполномоченных наблюдать за исполнением остальных статей договора. Эта власть простирается на все, что может служить для сохранения установленного государственного устройства, но она не может изменить это устройство. К этому добавляются и определенные почести, которые внушают почтение к законам и их служителям, а для личности служителей законов — прерогативы, вознаграждающие их за нелегкие труды — плату за хорошее управление. Магистрат, со своей стороны, обязуется использовать введенную ему власть лишь соответственно намерениям своих доверителей, обеспечить каждому возможность мирно



пользоваться тем, что ему принадлежит, и неизменно предпочитать общественную пользу своим собственным интересам.

Прежде чем опыт показал, что знание человеческой души заставило предвидеть неизбежные при подобном устройстве злоупотребления, оно должно было казаться тем более прекрасным, что те лица, на которых было возложено следить за его сохранением, сами были более всего в этом заинтересованы. Ибо магистратура и ее права покоятся лишь на основных законах, поэтому с уничтожением этих последних магистраты тотчас перестали бы быть законными, народ больше не был бы обязан им повиноваться, а так как не магистраты, а Закон составлял бы сущность Государства, то каждый по праву вновь обрел бы свою естественную свободу.

Стоит только подумать об этом повнимательнее, чтобы все это подтвердилось еще и другими соображениями, а из природы договора мы увидим, что он не может быть расторгимым. Ибо если бы вообще не было более высокой власти, которая могла бы быть порукою за верность вступающих в договорные отношения их взаимным обязательствам и заставить их выполнять эти обязательства, то стороны остались бы единственными судьями в своем собственном деле, и каждая из них всегда имела бы право отказаться от договора, лишь только она обнаружила бы, что другая сторона нарушает его условия или что эти условия перестали ее удовлетворять. Кажется, на этом именно принципе может быть основано право одностороннего отречения. К тому же, — если рассматривать, как мы это и делаем, лишь то, что установлено людьми, — если магистрат, держащий в своих руках всю полноту власти и присваивающий себе все выгоды договора, имеет все же право отказаться от власти, то народ, который расплачивается за все ошибки правителей, тем более должен иметь право отказаться от зависимости. Но ужасные раздоры и бесконечные неурядицы, которые неизбежно повлекла бы за собою эта опасная возможность, лучше, чем что-либо иное, показывают, насколько Правительства, людьми установленные, нуждаются в основе более прочной, чем один только разум, и насколько необходимо было для мира в обществе, чтобы божественная воля вмешалась, дабы придать верховной власти характер священный и неприкосно-

венный, что отняло у подданных пагубное право ею распоряжаться<sup>157</sup>. Если бы религия принесла людям лишь только это благо, то и этого было бы достаточно, чтобы люди должны были дорожить ею и принять ее, даже с присущими ей злоупотреблениями, так как она сберегает больше крови, чем фанатизм заставляет ее проливать<sup>158</sup>. Но будем следовать за основной нитью нашей гипотезы.

Различные виды Правлений ведут свое происхождение лишь из более или менее значительных различий между отдельными лицами в момент первоначального установления. Если один человек выделялся среди всех могуществом, доблестью, богатством или влиянием, то его одного избирали магистратом, и Государство становилось монархическим. Если несколько человек, будучи примерно равны между собою, брали верх над остальными, то этих людей избирали магистратами, и получалась аристократия. Те люди, чьи богатства или дарования не слишком отличались, и которые меньше других отошли от естественного состояния, сохранили сообща в своих руках высшее управление и образовали демократию. Время показало, какая из этих форм была более выгодною для людей. Одни по-прежнему подчинялись только лишь законам; другие вскоре стали повиноваться господам. Граждане хотели сохранить свою свободу, подданные помышляли лишь о том, как бы отнять свободу у своих соседей, так как они не могли примириться с тем, что другие наслаждаются благом, которым они сами уже больше не пользуются. Словом, на одной стороне оказались богатства и завоевания, а на другой — счастье и добродетель.

При этих различных видах Правления все магистратуры были поначалу выборными, и если богатство не влекло за собой предпочтения, то последнее отдавалось достоинством, определяющим естественное превосходство, и возрасту, приносящему опытность в делах и хладнокровие при вынесении решений. Старейшины у древних евреев, геронты в Спарте, сенат в Риме и даже сама этимология нашего слова *сеньор*<sup>159</sup> показывают, как некогда почиталась старость. Чем чаще выбор падал на мужей преклонного возраста, тем чаще должны были происходить выборы и тем больше ощущались связанные с проведением выборов затруднения: появляются интриги, образуются группировки, ожесточается борьба партий, вспыхивают гражданские

войны, наконец, кровь граждан начинают приносить в жертву так называемому счастью Государства, и остается сделать еще один только шаг, чтобы впасть в анархию предшествующей эпохи. Честолюбивые начальники воспользовались этими обстоятельствами, чтобы сохранить навсегда свои должности за своими семьями; народ, привыкший к зависимости, покою и жизненным удобствам и уже не способный разбить свои оковы, согласился, чтобы порабощение его усилилось, дабы его спокойствие упрочилось. И, таким образом, правители, став наследственными, привыкли рассматривать свою магистратуру как семейное имущество, а самих себя — как собственников Государства, которого они первоначально были лишь должностными лицами, называть сограждан своих своими рабами, причислять их, как скот, к вещам, им принадлежащим, и называть самих себя богоравными и царями царей<sup>160</sup>.

Если мы проследим поступательное развитие неравенства во время этих разнообразных переворотов, то обнаружим, что установление Закона и права собственности было здесь первой ступенью, установление магистратуры — второю, третьею же и последнею было превращение власти, основанной на законах<sup>161</sup>, во власть неограниченную. Так что богатство и бедность были узаконены первой эпохою, могущество и беззащитность — второю, третьею же — господство и порабощение, — а это уже последняя ступень неравенства и тот предел, к которому приводят в конце концов все остальные его ступени до тех пор, пока новые перевороты не уничтожат Власть совершенно или же не приблизят ее к законному установлению.

Чтобы понять необходимость такого развития, нужно иметь в виду не столько побудительные причины установления Политического организма, сколько ту форму, которую он принимает при своем претворении в действительность, и те неудобства, которые его установление влечет за собою. Ибо пороки, которые делают необходимыми общественные установления, сами по себе делают неизбежными и те злоупотребления, которым они открывают дорогу. И так как, за исключением одной только Спарты, где Закон заботился главным образом о воспитании детей и где Ликург утвердил такие нравы, которые почти избавили его от необходимости присоединять к ним законы, — законы, в общем, менее сильные, чем страсти, сдерживают

людей, их не изменяя, и легко было бы показать, что всякую Власть, которая, не извращаясь и не изменяясь, следовала бы в точности своей первоначальной цели, не было бы необходимости и устанавливать, и что та страна, в которой никто не обходил бы законов и не злоупотреблял бы властью магистрата, не нуждалась бы ни в магистратах, ни в законах<sup>162</sup>.

Различия в политическом положении неизбежно влекут за собою различия в положении гражданском. Когда возрастает неравенство между народом и его правителями, это вскоре дает себя знать и в отношениях между частными лицами, и оно видоизменяется тысячью способов в зависимости от страстей, дарований и случайных обстоятельств. Магистрат не мог бы захватить незаконную власть, не создав своих креатур, которым он, однако, вынужден уступить некоторую долю этой власти. К тому же граждане позволяют себя угнетать лишь постольку, поскольку, увлекаемые слепым честолюбием и вглядываясь больше в то, что у них под ногами, чем в то, что у них над головою, они начинают больше дорожить господством, чем независимостью, и соглашаются носить оковы, чтобы иметь возможность, в свою очередь, налагать цепи на других. Очень трудно привести к повиновению того, кто сам отнюдь не стремится повелевать, и самому ловкому политику не удастся поработить людей, которые не желают ничего другого, как быть свободными. Но неравенство легко распространяется среди людей с душой честолюбивою и низкою, которые всегда готовы испытывать судьбу и господствовать или повиноваться почти с одинаковою охотой, в зависимости от того, благосклонна к ним судьба или нет. Таким образом, должно было наступить время, когда народ оказался настолько ослеплен, что его предводителям стоило лишь сказать ничтожнейшему из людей: «Будь великим и ты и весь твой род» — и он сразу же всем начинал казаться великим и становился великим в своих собственных глазах, а его потомки еще более возвышались по мере того, как они от него удалялись. Чем более давней и неопределенной была причина, тем более увеличивалось ее действие; чем больше тунеядцев можно было насчитать в семье, тем более знаменитой эта семья становилась.

Если бы здесь уместно было входить в подробности, я бы легко объяснил, как среди частных лиц, даже без вме-

шательства Правительства, неизбежным становится неравенство влияния и авторитета<sup>(XI)</sup>, лишь только они, объединившись в одном обществе, оказываются вынуждены сравнивать себя друг с другом и считаться с различиями между собою, которые они обнаруживают при постоянном общении, в котором должны находиться. Эти различия многообразны, но так как вообще богатство, знатность или ранг, могущество и личные достоинства — это главные различия, на основании которых судят о месте человека в обществе, то я мог бы доказать, что согласие или борьба между этими различными силами — это и есть самый верный показатель того, хорошо или дурно устроено Государство. Я показал бы, что хотя из этих четырех видов неравенства личные качества являются причиною появления всех остальных, все эти виды, однако, сводятся, в конце концов, к богатству, ибо оно самым непосредственным образом определяет благосостояние, его легче всего передавать и поэтому с его помощью можно легко купить все остальное; наблюдение это дает возможность довольно точно судить о степени удаления народа от его изначального устройства и о том, далеко ли он ушел по пути к крайнему пределу разложения. Я отметил бы, как это всеобщее стремление к славе, почестям и отличиям, всех нас снедающее, заставляет развивать и сравнивать дарования и силы, как это стремление возбуждает и умножает страсти и как, делая всех людей конкурентами, соперниками или даже врагами, оно совершает ежедневно перемены в их судьбе, делается причиною всякого рода успехов и катастроф, заставляя сталкиваться на одном и том же поприще стольких соискателей. Я показал бы, что именно этому страстному стремлению заставить говорить о себе<sup>163</sup>, этой страсти отличаться, которая почти всегда заставляет нас быть вне себя, мы обязаны тем лучшим и тем худшим, что есть в людях: нашими добродетелями и пороками, нашими науками и заблуждениями, нашими завоевателями и нашими философами, т. е. многим дурным и лишь немногим хорошим. Я доказал бы, наконец, что если горсть могущественных и богатых находится на вершине величия и счастья, тогда как толпа пресмыкается в безвестности и нищете, то это происходит от того, что первые ценят блага, которыми они пользуются, лишь постольку, поскольку другие этих благ лишены и, оставаясь в том же положении, они

перестали бы быть счастливыми, если бы народ перестал быть несчастным.

Но одни только эти подробности могли бы составить материал для обширного сочинения, в котором можно было бы взвесить преимущества и неудобства всякого Правления сравнительно с правами естественного состояния, разоблачить все те разнообразные виды, в которых неравенство проявлялось вплоть до сего дня и в которых может оно проявиться в грядущие века, сообразно природе этих Правлений и тем переворотам, которые неизбежно произойдут в них со временем. Мы увидели бы массу, угнетаемую внутри Государства в результате именно тех мер предосторожности, которые были приняты ею, чтобы противостоять внешней угрозе; мы увидели бы, как постоянно растет угнетение, причем угнетенным никогда не дано знать, каков будет его предел и какие у них останутся законные средства, чтобы остановить его рост; мы увидели бы, как теряют свою силу и угасают мало-помалу гражданские права и национальные вольности и как протесты слабых начинают рассматриваться как мятежный ропот; мы увидели бы политику ограничения какой-то группой наемников числа тех лиц, которые удостоиваются чести защищать общие интересы государства<sup>161</sup>; мы увидели бы, как из этого возникает необходимость налогов, как павший духом земледелец даже в мирное время покидает свои поля и бросает плуг, чтобы опоясаться мечом; мы увидели бы рождение гибельных и диковинных принципов понимания чести; мы увидели бы как защитники отечества рано или поздно превращаются во врагов его, постоянно держащих кинжал занесенным над головами своих сограждан, и как неизбежно приходит время, когда они скажут угнетателю их отечества:

*Pectore si fratris gladium juguloque parentis  
Condere me jubeas, gravidaeque in viscera partu  
Conjugis, invita peragam tamen omnia dextra\*.*

Из крайнего неравенства положений и состояний, из разнообразия дарований и страстей, из искусств бесполезных, искусств вредных, из знаний поверхностных и неглу-

\* Если мечом поразить повелишь мне любимого брата,  
Иль дорогого отца, иль супругу с младенцем в утробе,  
Сердце сожмется в груди, но исполнит рука приказанье.  
Л у к а н. Фарсалия, или О гражданской войне, I, II, 376-378 (лат.)<sup>165</sup>.

боких появились бы сонмы предрассудков, равно противных разуму, счастью и добродетели. Мы увидели бы, как правители ревностно поддерживают все то, что может ослабить объединившихся людей, разъединяя их: все, что может придать обществу видимость согласия и посеять в нем семена подлинного раздора, все, что может внушить различным сословиям недоверие и взаимную ненависть, противопоставляя их права и их интересы и, следовательно, усилить власть, всех их сдерживающую<sup>166</sup>.

И среди всей этой безурядицы и переворотов постепенно поднимет свою отвратительную голову деспотизм; пожирая все, что увидит он хорошего и здорового во всех частях Государства, в конце концов, он начнет попираť ногами и законы, и народ и утвердится на развалинах Республики. Времена, предшествующие этой последней перемене, будут временами смут и бедствий, но, в конце концов, чудовище поглотит все, и у народов больше не будет ни правителей, ни законов, но одни только тираны. С этой минуты не может быть больше речи ни о нравственности, ни о добродетели. Ибо повсюду, где царит деспотизм, *cuī ex honesto nulla est spes\**, он не терпит, наряду с собою, никакого иного повелителя; как только он заговорит, не приходится уже считаться ни с честью, ни с долгом, и слепое повиновение — вот единственная добродетель, которая оставлена рабам.

Это — последний предел неравенства и крайняя точка, которая замыкает круг и смыкается с нашею отправною точкою. Здесь отдельные лица вновь становятся равными, ибо они суть ничто; а так как у подданных нет иного закона, кроме воли их господина, а у него нет другого правила, кроме его страстей, то понятие о добре и принципы справедливости вновь исчезают; здесь все сводится к одному только закону более сильного и следовательно к новому естественному состоянию, отличающемуся от того состояния, с которого мы начали, тем, что первое было естественным состоянием в его чистом виде, а это последнее — плод крайнего разложения. Впрочем оба эти состояния столь мало отличаются друг от друга, а договор об установлении Власти настолько расшатан деспотизмом, что деспот остается повелителем лишь до тех пор, пока он сильнее

\* Которому не свойственно ничто порядочное (лат.)<sup>167</sup>.

всех, но как только люди оказываются в силах его изгнать, у него нет оснований жаловаться на насилие. Восстание, которое приводит к убийству или к свержению с престола какого-нибудь султана, это акт столь же закономерный, как и те акты, посредством которых он только что распоряжался жизнью и имуществом своих подданных. Одной только силой он держался, одна только сила его и низвергает<sup>168</sup>. Все, таким образом, идет своим естественным путем, и какова бы ни была развязка сих быстрых и частых переворотов, никто не может жаловаться на несправедливость других, но только на собственное свое неблагоприятное или на свое несчастье.

Открывая и прослеживая, таким образом, забытые и затерянные пути, которые должны были привести человека из состояния естественного в состояние гражданское, восстанавливая с помощью намеченных мною выше промежуточных этапов те, которые я должен был опустить из-за недостатка времени или которые вообще не были подсказаны мне моим воображением, всякий внимательный читатель может быть лишь поражен огромностью того пространства, которое разделяет оба эти состояния. В этом медленном общем развитии он увидит решение бесконечного множества проблем моральных и политических, которые не могут разрешить наши философы. Он поймет, что человеческий род в одну эпоху — это не род человеческий в другую эпоху, и потому причина, по которой Диоген никак не мог найти человека<sup>169</sup>, заключена в том, что он искал среди своих современников человека времен уже минувших. «Катон, — скажет этот читатель, — погиб вместе с Римом<sup>170</sup> и со свободою, потому что не было ему места в его веке; и величайший из людей лишь удивлял тот мир, которым он правил бы пятью столетиями ранее». Словом, он объяснит, как душа и страсти человеческие, незаметно подвергаясь порче, изменяют, так сказать, и свою природу; вот почему с течением времени изменяются предметы наших потребностей и удовольствий; вот почему изначально в человеке постепенно исчезает, и общество открывает тогда глазам мудреца лишь скопище искусственных людей и притворных страстей, которые суть продукт этих новых отношений и не имеют никакого действительного основания в природе. То, что мы узнаем здесь с помощью размышления, полностью подтверждается и наблюдениями:



дикарь и человек цивилизованный настолько отличаются друг от друга по душевному складу и склонностям, что высшее счастье одного повергло бы другого в отчаянье. Первый жаждет лишь покоя и свободы, он хочет лишь жить и оставаться праздным, и даже спокойствие духа стойка не сравнится с его глубоким безразличием ко всему остальному. Напротив, гражданин, всегда деятельный, работающий в поте лица, беспрестанно терзает самого себя, стремясь найти занятия, еще более многотрудные; он работает до самой смерти, он даже идет на смерть, чтобы иметь возможность жить, или отказывается от жизни, чтобы обрести бессмертие. Он заискивает перед знатными, которых ненавидит, и перед богачами, которых презирает; он не жалеет ничего, чтобы добиться чести служить им; он с гордостью похвастается своей низостью и их покровительством и, гордый рабским своим состоянием, он с пренебрежением говорит о тех, которые не имеют чести разделять с ним это его состояние. Какое зрелище представили бы для караиба тягостные и вызывающие зависть труды какого-нибудь европейского министра! Какую мучительную смерть не предпочел бы этот беспечный дикарь ужасам подобной жизни, которые часто даже не скрашивает отрадное сознание того, что правильно поступаешь! Но, чтобы он увидел, какова цель стольких страданий, нужно, чтобы слова *могущество* и *репутация* приобрели смысл в его уме; нужно, чтобы он понял, что существуют люди, которые придают значение тому, как на них смотрит остальной мир, которые считают себя счастливыми и довольными самими собой скорее потому, что так полагают другие, чем потому, что они сами так считают. Такова и в самом деле действительная причина всех этих различий: дикарь живет в себе самом, а человек, привыкший к жизни в обществе, всегда — вне самого себя; он может жить только во мнении других, и, так сказать, из одного только их мнения он получает ощущение собственного своего существования. В мою тему не входит показывать, как из подобного предрасположения возникает такое безразличие к добру и злу наряду со столь прекрасными рассуждениями о морали; как все сводится к внешней стороне вещей и как поэтому все становится притворным и наигранным — честь, дружба, добродетель и часто даже сами пороки, так как люди, в конце концов, открыли секрет, как с их помо-

щью прославиться, — словом, как, приучившись постоянно вопрошать других о том, что мы собою представляем, и никогда не решаясь спросить об этом самих себя, мы обладаем теперь, несмотря на такое обилие философии, гуманности, вежливости и высоких принципов, одною только внешностью, обманчивою и пустою: честью без добродетели, разумом без мудрости и наслаждениями без счастья. Мне достаточно было доказать, что не таково изначальное состояние человека и что один только дух общества и неравенство, им порождаемое, так изменяют и портят наши естественные наклонности.

Я старался показать происхождение и развитие неравенства, установление политических обществ и то дурное применение, которое они нашли, насколько все это может быть выведено из природы человека, с помощью одного лишь светоча разума и независимо от священных догматов, дающих верховной власти санкцию божественного права. Из сказанного выше следует, что неравенство, почти ничтожное в естественном состоянии, усиливается и растет за счет развития наших способностей и успехов человеческого ума и становится, наконец, прочным и узаконенным в результате установления собственности и законов. Отсюда также следует, что неравенство личностей, вводимое только одним положительным правом, вступает в противоречие с правом естественным всякий раз, когда этот вид неравенства не соединяется в таком же отношении с неравенством физическим: различие это достаточно ясно показывает, что должны мы думать в этой связи о том виде неравенства, которое царит среди всех цивилизованных народов, ибо явно противоречит естественному закону, каким бы образом мы его ни определяли, — чтобы дитя повелевало старцем, глупец руководил человеком мудрым и чтобы горстка людей утопала в излишествах, тогда как голодная масса лишена необходимого.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>(1)</sup> Геродот рассказывает, что после убийства Лже-Смердиса<sup>171</sup>, когда семь освободителей Персии собрались вместе, чтобы решить, какую им установить в Государстве форму правления, Отанес решительно высказался в пользу Республики; предложе-